УДК 94(47).066
DOI: 10.24411/2311-603X-2018-00072

М. М. Сафонов

Презентация образа великой княгини Екатерины Алексеевны в первой редакции «Записок» императрицы Екатерины II

...il ...dit qu'il...voyait au moins trois couronnes sur mon front. L'évènment a verifié cette prédiction[1].

Героиня мемуаров[2] — это девушка-подросток, которой Провидение назначило получить царский венец. Еще ребенком она поверила в свое предназначение, но сама она, и это особенно важно, не делала ничего, чтобы приблизить момент и овладеть российским престолом. Вспоминая впечатления детства, мемуаристка пишет о том, что в Брауншвейг, где она гостила вместе с матерью, приехал какой-то монах из дома Менгден. Он предсказывал будущее по лицам. Мать Екатерины предрекала принцессе Шарлотте из Брауншвейгского дома, что она будет носить несколько корон. Однако монах, услышав об этом предсказании, заявил, что в чертах этой принцессы не видит ни одной короны. Так оно и случилось: принцесса умерла незамужней. А вот ей, Екатерине, тогда еще принцессе Фике, прорицатель заявил, что на ее челе видит «по крайней мере три короны»[3]. Советник отца Екатерины, губернатор в Штеттине, некто Больхаген в 1736 г. прочитал в газете о свадьбе принцессы Августы Саксен-Готской с принцем Уэльским, и бросил многозначительную фразу: «...правду сказать, эта принцесса была воспитана гораздо хуже, чем наша; да она совсем и некрасива; и однако вот суждено ей стать королевой Англии; кто знает, что станет с нашей». В связи с этим он стал проповедовать девочке благоразумие и добродетели, дабы сделать ее достойной носить корону, если она когда-нибудь выпадет ей на долю[4]. «Мысль об этой короне, — писала Екатерина, — начала тогда бродить у меня в голове и долго бродила с тех пор». Но мечта о царской короне не выливается ни в какие конкретные действия политического характера. На протяжении всего текста мемуаров Екатерина абсолютно чужда какой бы то ни было политики. В политическом смысле она — совершенно девственное создание. В тот же момент, когда она как супруга герцога Шлезвиг-Гольштейн-Готторпского должна принять участие в обсуждении вопроса об обмене Голштинии на графства Ольденбургское и Дельменхорстское, потому что Елизавета Петровна предоставила племяннику в решении судьбы его личного владения полный карт-бланш, мемуары обрываются[5]. Инициация Екатерины как политика остается за пределами мемуаров. Они начинаются традиционно: «Я родилась...»[6], а заканчиваются обещанием: «J'en parlerai dans la suit»[7]. То есть «Я поговорю об этом впоследствии». Другими словами, Екатерина Великая как политик еще не родилась.

Но чем же тогда занималась будущая императрица всё это время?

"...je vis une actrice habillée de velours, brodé un or..."[8]

«Когда мне было три года, отец с матерью свезли меня к бабушке в Гамбург, — пишет Екатерина. — Одно обстоятельство я припоминаю из этой поездки, это то, что меня взяли в немецкую оперу и я увидела там актрису, одетую в голубой бархат, шитый золотом; она держала белый платок в руках; увидев, что она вытирает им глаза, я начала так искренно плакать и кричать, что пришлось отослать меня домой. Эта сцена так сильно запечатлелась у меня в душе, что я еще помню ее и сейчас»[9]. Какая неподдельная детская непосредственность, какая искренность трехлетнего существа! Несмотря на категорическое заявление мемуаристки о том, что спустя четыре десятилетия она видит эту сцену, как если бы она сейчас разыгрывалась перед ее глазами, весь эпизод ею выдуман. Выдуман для того, чтобы позиционировать себя искренним существом с детской непосредственностью.

Дело в том, что в так называемой «Автобиографической записке», написанной еще при жизни Елизаветы Петровны в конце 1750-х гг.[10], тоже есть эпизод с посещением театра трехлетней девочкой. Но он изложен по-другому: «В 1733 г. моя мать повезла меня с собою в Гамбург к моей бабушке. Я пошла с ней в оперу, но, когда на сцене происходило сражение, я стала кричать и меня унесли»[11]. Выходит, четверть века спустя Екатерина помнила этот эпизод гораздо хуже, чем через сорок лет после него! В одном случае она отправилась в Гамбург с обоими родителями, в другом только с матерью. Но это не так

важно. Во втором случае ребенок кричит, увидев на сцене настоящее сражение. В первом же — слезы героини, платье которой обстоятельно описано, заставляют трехлетнего ребенка так сильно сострадать ей, что он сам не только рыдает, но даже начинает кричать и его приходится увести из театра.

Мемуаристка рисует свой автопортрет по заранее намеченному шаблону и произвольно создает факты якобы из реальной действительности, из которых этот образ складывается. В данном случае замена военного сражения на плачущую актрису более чем показательна. Появление именно женской фигуры на сцене (а в сражении, несомненно, должны были бы участвовать прежде всего мужчины, если только речь не шла о битве амазонок) давала возможность мемуаристке поместить в этот эпизод описание платья героини: голубой бархат, золотое шитье, белый платок в руках. А это в свою очередь должно было привести внимательного читателя к мысли о том, что мемуаристка чисто по-женски воспринимает окружающий мир. Будучи трехлетним ребенком, она уже тогда обращала внимание на то, как и во что одеты окружающие ее люди, и этот рано проснувшийся интерес к аксессуарам светской жизни мемуаристка пронесла через всю жизнь.

Повествование ведется от лица человека, который много внимания уделяет человеческой внешности. Описывая свою тетку, мемуаристка пишет: «Ей было за пятьдесят лет; она была очень высока и так худа, что у меня талия в одиннадцать лет была толще, чем у нее, а потому она очень гордилась своей тонкой талией. Она вставала в 6 часов утра и заботилась о том, чтобы зашнуроваться тотчас, как только встанет, и не снимала корсета до той минуты, пока не ложилась спать»[12]. Читатель этого фрагмента неминуемо должен был вынести впечатление о том, что для самого автора вопрос о размере талии принадлежит к числу первостепенных. Сделав это важное наблюдение, нетрудно определить, какое место в тексте мемуаров Екатерины занимает описание платьев и костюмов действующих лиц. У доверчивого читателя создается даже впечатление, что ее ничего так не интересует, как наряды и платья. Как увидим далее, именно этой ипостаси своего создаваемого образа Екатерина придавала важнейшее значение.

“…j’avais quinze ans, la parure ne déplait point à cet âge”[13]

Характернейшая особенность текста первой редакции заключается в том, что он перенасыщен описаниями нарядов, балов и драгоценностей. Создается впечатление, что автор его — женщина, для которой танцы, платья и украшения не только первейшая жизненная ценность, но и в некотором смысле — Alter ego, т.е. второе Я. Но текст содержит не только прямые декларации жизненных ценностей этого рода. Он написан таким образом, что читатель не может отделаться от мысли: автор видит мир глазами, которые из всего многообразия

окружающего мира выхватывают и фиксируют прежде всего то, что более всего интересно и дорого душе девочки-подростка с ее интересами, определяемыми возрастом и полом.

Несмотря на перенесенную в семилетнем возрасте болезнь, которая грозила ей физическим уродством[14], уже в одиннадцать лет она представляла собой привлекательное создание, производившее впечатление. «Балы, оперы, концерты, охоты, прогулки», придворные пиршества следовали один за другим. «Вот что я видела каждый день в Брауншвейге с восьми- до пятнадцатилетнего возраста»[15]. Когда ей исполнилось одиннадцать, она «была очень высока для своего возраста», и берлинский карнавал уже «начинал ей сильно нравиться»[16].

Внимание, которое уделяет Екатерина в своем сочинении описанию костюмов и причесок, гипертрофировано настолько, что по этим зарисовкам можно изучать историю моды при петербургском дворе. Но отнюдь не борьбу придворных «партий». Описания построены так, что читатель ни минуты не сомневается, что эту девочку ничего более не интересовало, как аксессуары светской жизни.

В первый же день пребывания в Петербурге в феврале 1744 г. Екатерина близко познакомилась с фрейлинами императрицы Е. А. Карр и А. В. Салтыковой. Они предложили ей причесать ее так, как сами были причесаны. Им подражали двор и город. Но ни Екатерина, ни ее мать Иоганна Елизавета не знали, что императрица Елизавета Петровна не любила этой моды, потому что она была придумана Анной Брауншвейгской. «На самом деле ничего не было безобразнее. Волосы без пудры и завивки просто были гладко зачесаны на висках, над ушами; надевали очень маленький локон, из которого до половины щеки вытягивали немного взбитых волос; здесь из них делали крючок, который приклеивали в углублении щеки; потом окружали голову на полтора пальца расстояния ото лба, над макушкой, очень широкой лентой, сложенной вдвое; эта лента кончалась бантами на ушах, и концы ее падали на шею; в эти банты втыкали с двух сторон цветы, которые помещались пальца на четыре выше над ушами очень прямо; мелкие цветы спускались отсюда на волосы, покрывавшие половину щеки; кроме, того, надевали массу лент из одного куска на шею и лиф, и требовалось по крайней мере двадцать аршин, чтобы так себя изуродовать; шиньон составляли четыре висячие букли из волос»[17]. Разве можно усомниться в том, что пером водит женщина, которая только и думала о модах? Почти три десятилетия спустя она помнит в мельчайших подробностях фасоны платьев и причесок.

Описывая первую встречу с императрицей Елизаветой Петровной в Москве в феврале 1744 г., мемуаристка замечает, что «в ожидании каждый старался приодеться как можно лучше. Помню, что у меня было узкое платье без фижм, из муара розово-серебристого цвета»[18]. Подробнейшим образом описан туалет Елизаветы Петровны при первой встрече: «Поистине нельзя было тогда видеть ее в первый раз и не поразиться ее красоте и величественной осанке. Это была

женщина высокого роста, очень полная. Но ничуть от этого не терявшая и не испытывавшая ни малейшего стеснения во всех своих движениях; голова была также очень красива; на императрице в этот день были огромные фижмы, какие она любила носить, когда одевалась, что бывало с ней, впрочем, лишь в том случае, если она появлялась публично. Ее платье было из серебряного глазета с золотым галуном; на голове у нее было черное перо, воткнутое сбоку и стоявшее прямо, а прическа из своих волос со множеством бриллиантов»[19]. Туалет, в котором Елизавета появилась на следующий день, так же подробно описан: императрица вышла из своей уборной «чрезвычайно разодетая; на ней было коричневое платье, расшитое серебром, и она вся была покрыта бриллиантами, то есть голова, шея, лиф»[20]. Через несколько дней императрица отправилась в Троицкий монастырь на богомолье. «На ней в тот день было платье с длинными бархатными рукавами и со всеми русскими орденами, то есть с Андреевской лентой через плечо, с орденом св. Александра Невского на шее и св. Екатерины на груди слева». Во время болезни Екатерины Елизавета прислала ей бриллиантовые серьги и бант стоимостью в 25 тыс. руб.[21]

Подробно описана склока с матерью из-за материи, которую Екатерина хотела сохранить для себя. В день обращения в православие императрица Елизавета, по словам Екатерины, «заказала мне платье, похожее на свое, малиновое с серебром»[22]. После обряда императрица подарила Екатерине ожерелье и украшения на грудь из бриллиантов. На следующее утро новообращенная получила в подарок портрет императрицы и наследника «на браслете, осыпанном брильянтами, великий князь прислал часы и веер»[23].

«У меня появилась другая прихоть, — сообщает мемуаристка в другом месте. — Я велела подрезать себе челку, хотела ее завивать, и потребовала, чтобы вся эта бабья орава (горничные Екатерины. — *М. С.*) сделала то же. Многие воспротивились, другие плакали, говоря, что будут иметь вид хохлатых птиц, но наконец, мне удалось заставить их завить челки»[24]. Немало внимания уделяется описанию челки Екатерины в день ее свадьбы: «Мой камердинер Тимофей Евреинов завивал мне челку. Когда вошла императрица... едва она меня поцеловала, как принялась бранить моего камердинера и запретила ему завивать мне челку; она хотела, чтобы челка была плоская, под предлогом, что при завитой челке драгоценные украшения не будут держаться на голове, после чего ушла; но человек мой, который был упрям, не захотел отказаться от своей завитой челки; он убедил графиню Разумовскую, которая покровительствовала завивке и не любила зализанных волос, поговорить с императрицей в пользу завитой челки. После того как графиня три или четыре раза ходила взад и вперед от императрицы к моему камердинеру и обратно, между как я была спокойным зрителем происходившего, императрица велела ему не без гнева сказать, чтобы он сделал, как знает. Когда я была причесана, императрица пришла надеть мне на голову великокняжескую корону и потом велела мне самой надеть столько драгоценностей ее и моих, сколько хочу... мое платье из серебристого глазета,

расшитого серебром по всем швам, и страшной тяжести»[25]. В описание следующего после свадьбы дня помещен фрагмент о том, что Елизавета привезла своей невестке «целую подушку, сплошь покрытую чудным изумрудным убором и послала сапфировый убор великому князю для подарка мне»[26].

И еще одна картинка жизни русского двора: «Дамы тогда были заняты только нарядами, и роскошь была доведена до того, что меняли туалет по крайней мере два раза в день, императрица сама чрезвычайно любила наряды и почти никогда не надевала два раза одного и того же платья, но меняла их несколько раз в день; вот с этим примером все и сообразовывались: игра и туалет наполняли день. Я, ставившая себе за правило нравиться людям, с какими мне приходилось жить, усваивала их образ действий, их манеру; я хотела быть русской, чтобы русские меня любили; мне было 15 лет. Наряды не могут не нравиться в этом возрасте»[27].

«В эту зиму, — пишет Екатерина о зимних месяцах 1748 г., — я стала очень заботиться о нарядах; княжна Гагарина часто говорила мне украдкой и тайком от Чоглоковой, — перед которой, мимоходом говоря, было непростительным преступлением похвалить меня, — что я со дня на день хорошею; этому пришла пора, мне было тогда восемнадцать лет. Там и сям я встречала льстецов, повторявших мне то же; я начинала им верить и дольше прежнего оставалась перед зеркалом. У меня был мальчик-калмык, который очень хорошо причесывал; часто я звала его по два раза на дню, когда представлялся к тому случай; я была высока ростом и очень хорошо сложена; следовало быть немного полнее: я была довольно худа. Я любила быть без пудры, волосы мои были великолепного каштанового цвета, очень густые и хорошо лежали; но мода быть без пудры уже проходила; я иногда пудрилась в эту зиму. Лесток сказал мне вскоре после свадьбы, что шведский посланник Вольфенштиерна находил меня очень красивой; я за это ничего против него не имела, но это приводило меня в некоторое замешательство, когда мне приходилось с ним разговаривать. По скромности или кокетству, я хорошенько не знаю, — но всегда это стеснение действительно существовало»[28].

“Je donnais alors plus que jamais dans la parure et dans toutes les modes”[29]

Этой фразой Екатерина начинает описание свое наимоднейшего наряда зимы 1750 г. Еще одно свидетельство того, что и в двадцать лет она не утратила вкуса к модам. Как раз наоборот: еще более увлеклась туалетами. Сам же наряд описан так: «В это время начали проникать к нам вырезки на платьях; я заказала себе два платья, одно из белого атласа, другое из розового, сплошь покрытые оборками; как только императрица вернулась в город, я поспешила на первый же куртаг надеть мое белое атласное платье с такой отделкой; это было

первое платье такого рода, которое видела Ее Величество; кроме того, я надела на себя много изумрудов и причесала всю голову в буклях»[30].

Столь же подробно, с мелкими деталями описан наряд в орденский праздник 1748 г.[31] А что значат наряды без балов, где можно поразить воображение мужчин не только своей природной красотой, но и роскошью платьев и великолепием бриллиантов? А также и вызвать ревнивую зависть придворных модниц, не исключая самой императрицы?

“J’aimais alors tant la danse que…”[32]

Описывая время пребывания в Москве в 1744 г., Екатерина доверительно сообщает: «Я так любила тогда танцевать, что утром с семи часов до девяти я танцевала под предлогом, что беру уроки бальных танцев у Ландэ, который был всеобщим учителем танцев и при дворе, и в городе; потом в четыре часа после обеда Ландэ опять возвращался, и я танцевала под предлогом репетиций до шести, затем я одевалась к маскараду, где снова танцевала часть ночи. Каждый вторник был при дворе род маскарада, который не всем нравился, но который мне в мои 15 лет был очень по душе»[33]. При такой склонности и этаком распорядке дня оставалось ли время на что-нибудь иное, кроме танцев? Далее следует описание маскарадов, рассказывается подробно, какие одежды были на женщинах и мужчинах, государыне. «Императрица постановила, чтобы на этих маскарадах, где присутствовали только лица, назначенные ею, все мужчины одевались женщинами и все женщины мужчинами; правда, что нет ничего безобразнее и в то же время забавнее, как множество мужчин столь нескладно наряженных, и ничего более жалкого, как фигуры женщин, одетых мужчинами; вполне хороша была только сама императрица, к которой мужское платье отлично шло; она была очень хороша в этих костюмах. На этих маскарадах мужчины были вообще злы, как собаки, и женщины постоянно рисковали тем, что их опрокинут эти чудовищные колоссы, которые очень неловко справлялись со своими громадными фижмами и непрестанно вас задевали, ибо стоило только немного забыться, чтобы очутиться между ними, так как по обыкновению дам тянуло невольно к фижмам. Мне случилось раз на одном из таких балов упасть очень забавно. Сиверс, тогда камер-юнкер, был довольно большого роста, и надел фижмы, которые дала ему императрица; он танцевал со мною полонез, а сзади нас танцевала графиня Гендрикова: она была опрокинута фижмами Сиверса, когда тот на повороте подавал мне руку; падая, она так меня толкнула, что я упала прямо под фижмы Сиверса, поднявшиеся в мою сторону; он запутался в своем длинном платье, которое так раскачалось, и вот мы все трое очутились на полу, и я именно у него под юбкой; меня душил смех, и я старалась встать, но пришлось нас поднять; до того трудно было нам справиться, когда мы запутались в платье Сиверса, так что ни один не мог встать, не роняя двух других»[34].

Рассказывая о свадебных празднествах в августе 1745 г., мемуаристка свидетельствует: «...между прочим был маскарад с кадрилями в разноцветных домино, каждая состояла из двенадцати пар. Первая кадриль была великого князя в розовом с серебром; вторая в белом с золотом была моя, третья моей матери, в бледно-голубом с серебром, четвертая в желтом с серебром, моего дяди епископа Любекского. У входа в залу мы нашли приказание каждой кадрили не смешиваться между собой, но каждой танцевать в том углу залы, который был ей предназначен; моя кадриль очень затруднялась исполнить это приказание, потому что, когда захотели открыть бал, не было ни одного танцующего кавалера: всё это были люди от шестидесяти до девяноста лет, во главе которых находился фельдмаршал Ласси, бывший со мною в паре. Я чуть не плакала из-за этого приключения, но, к счастью, я встретила гофмаршала, которому привели такие сильные доводы, что он получил отмену приказания и разрешение кадрилям смешиваться; тем не менее во всей жизни не видала я более грустного и безвкусного удовольствия, как эти кадрили: было только сорок пар, по большей части хромые, или подагрики, или расслабленные, в громадной зале, а все остальные были зрители, в обыкновенном платье, не смевшие вмешиваться в кадриль; но императрица нашла это настолько красивым, что велела повторить кадриль еще раз. После бала кадрили ужинали; у меня были почти слезы на глазах»[35]. Разве можно поверить, что у этой девочки, готовой расплакаться от того, что не удавалось потанцевать так, как душе угодно, было что-то еще на уме?

Осенью и зимой 1745–1746 гг., пишет Екатерина, «было определено, что каждую неделю будут два маскированных бала — один при дворе, другой по очереди у главных вельмож в городе. Делали вид, что на них веселились, но в сущности скучали смертельно на этих балах, которые, несмотря на маски, были церемонны и мало посещаемы. Так что покои при дворе были пусты, а городские дома всё же слишком тесны, чтобы вместить то небольшое количество народу, которое туда являлось. Ибо нельзя судить по теперешнему Петербургу о том, чем был тогда этот город... Из домов только один — принцессы Гессенской — был отделан штофом, все другие имели выбеленные стены, или плохие обои, бумажные или же набойчатые»[36].

Чрезвычайно характерен эпизод, связанный с пребыванием в Петербурге шведского дипломата Г.-А. Гюлленборга. Он, согласно свидетельству Екатерины, еще в Гамбурге впервые обратил внимание на ее «ум и достоинства», возвышал душу четырнадцатилетней девочки «прекрасными чувствами и высокими правилами». Девочка «жадно их ловила и извлекала из них себе пользу»[37]. Но увидев в России принцессу Фике, ставшую великой княжной Екатериной, он поразился произошедшей в ней перемене. «Граф Гюлленборг, видя, что я с головой окунулась во все причуды двора, и заметив во мне, вероятно, больше благоразумия в Гамбурге, чем он усматривал, как ему думалось, в Петербурге, сказал мне однажды, что он удивляется поразительной перемене, которую он находит во мне: “Каким образом”, сказал он, “ваша душа, которая

была сильной и мощной в Гамбурге, поддается расслабляющему влиянию двора, полного роскоши и удовольствия? Вы думаете только о нарядах; обратитесь снова к врожденному складу вашего ума; ваш гений рожден для великих подвигов, а вы пускаетесь во все эти ребячества. Готов держать пари, что у вас не было и книги в руках с тех пор, как вы в России". Он довольно верно отгадал, но в Германии-то я читала почти лишь то, что меня заставляли. Тогда я его спросила, какую книгу советует он мне читать; он мне рекомендовал три: во-первых, "Жизнь знаменитых мужей" Плутарха, во-вторых, "Жизнь Цицерона", в-третьих, "Причины величия и упадка Римской республики" Монтескье. Я ему обещала прочесть их и действительно велела их отыскать; я нашла на немецком языке — "Жизнь Цицерона", из которой прочла пару страниц; потом мне принесли "Причины величия и упадка Римской республики": я начала читать, эта книга заставила меня задуматься; но я не могла читать последовательно, что заставляло меня зевать, но я сказала: вот хорошая книга, и бросила ее, чтобы вернуться к нарядам, а "Жизнь знаменитых мужей" Плутарха я не могла найти: я прочла ее лишь два года спустя»[38].

Более чем выразительный пассаж. Серьезное чтение вызывает у пятнадцатилетней Екатерины зевоту, она отбрасывает книгу и снова отдается нарядам и балам. Это жест символический. Разумеется, ей не до политики.

"…sauter et jambader… tant que nous voulions"[39]

Когда А. С. Пушкин учился в Лицее, то за его подвижность ему дали прозвище «Юла». Вся последующая жизнь поэта подтверждает, что это прозвище было вполне оправдано: бьющая через край кипучая энергия оставалась характернейшей чертой личности «нашего всего» и не покидала его до последних дней. «Юла» же Ангальт-Цербстская, независимо от того, каковой на самом деле была Екатерина в реальной жизни, это — только литературный образ, созданный по шаблону с определенной целью, позволяющий представить нужный мемуаристке автопортрет.

Первая редакция, как отмечалось выше, оканчивается упоминанием о том, что канцлер А. П. Бестужев вел переговоры с Данией об обмене Голштинии, патримонии великого князя Петра Федоровича, к которой он питал «необычную любовь», на графства Ольденбург и Дельменхорст. Но этому упоминанию предшествует такой пассаж (речь идет о зиме 1750 г.): «...я стала в эту зиму очень весела, так что я часто заставляла плясать и прыгать всех окружающих меня; я также подражала всякого рода птицам и животным, как их крикам, так их поступи и походке; это смешило Чоглокову и иногда заставляло даже улыбаться ее мужа; однако эти случаи были редки. Сознаюсь, что я стала необычайно гримасничать и бесноваться; но ко мне привыкли и бранили меня уже не так часто. Иногда я наполняла всю комнату шумом, который производила. Граф Гендриков, брат Чоглоковой, бывший в отсутствии в течение года, сказал мне

однажды, видя, какой я произвожу грохот, что у него голова кружилась от одного вида моих скачков; это мне понравилось, и я в течение нескольких дней повторяла всем эти слова»[40].

Трудно представить Екатерину, величественная осанка которой поражала современников своей монументальностью, в позе птицы, подражающей ее поступи и походке, издающей экзотические звуки. Кажется, это просто невозможно. Но только если исходить из классического образа «философа на троне». Что особенно важно, пассаж о подражающей птицам и животным беснующейся Екатерине помещен в тексте накануне описания того эпизода, с которого должно начаться участие великой княгини в международных делах, т.е. буквально перед политической «инициацией» главной героини.

Образ «ангальт-цербстской юлы» планомерно создается на протяжении всех мемуаров. При описании обстоятельств детства автор концентрирует внимание читателя на том, что девочка-юла находится в постоянном движении. Мемуаристка намеренно подчеркивает, что уже в детстве она была очень непосредственным ребенком, подвижным как ртуть. В трехлетнем возрасте Екатерина «чуть не убилась до смерти и вот каким образом: я играла в комнате матери, где стоял шкаф, полный игрушек и кукол; ключ от него был у меня; однажды я до того изловчилась, что шкаф упал на меня и накрыл меня совсем; мать подумала, что меня задавило, вскочила и бросилась ко мне; но, к счастью, дверцы шкафа были отперты, и он лишь удачно накрыл меня, что я осталась под ним цела и невредима, отделавшись легким испугом»[41]. В другой раз девочка «чуть не проткнула себе глаз ножницами: острие попало в веко».

Рассказывая о своей тетке, Екатерина пишет, что «принцесса эта отлично вышивала, очень любила птиц, из жалости подбирала особенно тех, с которыми случалось какое-нибудь несчастье. Я видела в ее комнате дрозда с одной ногой, жаворонка с вывихнутым крылом, кривоногого щегленка, курицу, которой петух прошиб полголовы, петуха, которому кошка общипала хвост, соловья, которого наполовину разбил паралич, попугая, который обезножел и потому лежал на брюхе, и много всякого рода других птиц, которые гуляли и свободно летали по ее комнате. Я была чрезвычайно жива и довольно ветрена в детстве; помню, я однажды причинила этой принцессе сильное огорчение, которого она мне никогда не прощала: я осталась одна на несколько минут в ее комнате; мне пришла фантазия открыть окно, и половина ее птичника улетела; я как можно скорее закрыла окно и убежала; тетка, вернувшись в свою комнату, нашла только калек; она догадалась, что произошло, и я была изгнана из этой комнаты»[42].

Вся эта трагикомическая история, на которую никто из биографов императрицы не обращал внимания — мол, совершенно пустячный эпизод — тем не менее служит как бы прологом к очень важному для автора мемуаров заключению: «*Моя живость была чрезвычайна в то время* (курсив мой. — *М. С.*); меня укладывали спать очень рано; когда считали меня заснувшей, женщины, меня окружавшие, и Кардель (гувернантка принцессы. — *М. С.*) уходили поболтать

в другую комнату до тех пор, пока не вздумают разойтись ко сну. Я делала вид, что засыпала сразу, чтоб они поскорее ушли, и, как только оставалась одна, садилась верхом на подушки и скакала на кровати до изнеможения. Помню, я поднимала в постели такую возню, что мои прислужницы прибегали посмотреть, в чем дело; но тогда они находили меня уже лежавшей, и я притворялась спящей; ни разу меня не поймали и никогда не узнали, что я носилась на почтовых у себя в постели верхом на подушках»[43].

Еще одно доказательство своей необыкновенной подвижности Екатерина дает буквально в следующем пассаже. В замке Дорнбург «у меня <...>, — пишет автор мемуаров, — было еще одно занятие, которого Бабет Кардель не подозревала. Она проводила весь день со мною и спала в моей комнате, из которой выходила только по естественной надобности; для этого ей надо было проходить по маленькому коридору; пока она уходила и возвращалась, я бегала сверху вниз и снизу вверх по большой каменной лестнице в четыре спуска; потом я возвращалась и усаживалась на свое место; Бабет являлась всегда после меня и находила меня там, где оставила. Правда, она отличалась полнотой, но была подвижна и легка для ее сложения, что касается меня, то я была легка, как перышко»[44]. Одним словом, эта «легкая как перышко» девочка была сущим Perpetuum mobile.

Более чем выразителен рассказ мемуаристки о посещении Вареля, принадлежавшего графине Бентинк. «Бентинк выехала навстречу к нам верхом; я еще никогда не видела женщин верхом и была в восторге при виде ее: она ездила, как берейтер. По прибытии в Варель я привязалась к ней; эта привязанность не понравилась матери, но еще больше отцу; зато отличились мы на первых порах замечательно. Бентинк, как только переменила платье, поднялась наверх; я присутствовала при ее туалете и не покидала ее ни на минуту; она, ничуть не стесняясь, появилась на мгновение в комнате своей матери, где была и моя также, и тотчас мы пустились танцевать в передней штирский танец; это привлекло всех к дверям, чтобы посмотреть на нас; меня жестоко выругали за этот дебют. Однако, под предлогом визита, я пошла на следующий день в покои Бентинк, которую я находила очаровательной; да и как могло быть иначе? мне было четырнадцать лет; она ездила верхом, танцевала, когда ей вздумается, пела, смеялась, прыгала, как дитя, хотя ей было тогда за тридцать»[45]. Но самым привлекательным в глазах Екатерины оказалось искусство наездницы: «Как только отобедали, я вернулась в комнату графини; она обещала мне, что я покатаюсь верхом после обеда, но главная трудность состояла в том, чтобы получить на это позволение отца; без него бы я не осмелилась поехать. Графиня взялась вести переговоры и своей назойливостью добилась разрешения; она посадила меня на лошадь, и я несколько раз объехала двор замка. *С той минуты это упражнение стало моей господствующей страстью в течение очень долгого времени; как только я видела своих лошадей, я всё для них бросала*» (курсив мой. — *М. С.*)[46].

Поездка в Варель закончилась тем, что родители поспешили покинуть замок. «Кажется, это было сделано отчасти затем, чтобы вырвать меня из когтей этой женщины: она давала слишком много воли моей врожденной живости, которая имела достаточно наклонности к дальнейшему развитию и которую необходимо было держать в узде; четырнадцатилетний возраст не располагает к осторожности и раздумью»[47]. Относительно своей живости в другом месте мемуаров Екатерина сообщает: «Тогда я читала только романы; эти последние не преминули разжечь мое воображение, в чем я вовсе не нуждалась: я и без того была в достаточной степени жива, и эта живость еще усиливалась вследствие ненавистного образа жизни, какой меня заставляли вести»[48].

“…promener et courir…”, “…courir…me casser le coup…”[49]

И в пятнадцать лет, и в последующие годы «врожденная живость» оставалась характернейшей особенностью «ангальт-цербстской юлы». Стремясь создать образ этакой попрыгуньи-хохотушки, Екатерина поместила в текст своих записок и такую деталь. На пути в Петербург она впервые увидела сани: «Я очень неумело влезала в эти сани, в которых надо лежать; Нарышкин, который сопровождал нас... чтобы научить меня садиться в эти сани, сказал мне: “Надо закинуть ногу, закидывайте же!” Это слово, которого никогда не приходилось мне слышать раньше, так смешило меня дорогой, что я не могла его вспоминать без хохота!»[50] «Так как я была бесхитростна, — описывает Екатерина свое пребывание в России в 1744 г., — то привязалась ко второй дочери графини Румянцевой, ныне графини Брюс, которая была на два года моложе меня. Она спала очень часто по моей просьбе в моей комнате и на моей постели, и тогда все ночи проходили в том, что мы прыгали, танцевали, резвились и засыпали очень часто только под утро: так велика была возня, которую мы поднимали»[51].

Во время путешествия в Киев летом 1744 г. Екатерина вместе с молодежью ехала в отдельной повозке, и эти дети во время всего путешествия только и делали, что «смеялись, играли и резвились»[52]. Зимой 1745 г. Елизавета Петровна дала Екатерине восемь русских горничных. Мемуаристка поместила в свои «Записки» подробнейшее описание того, как она возилась с горничными, играла в жмурки, каталась, как с горки, на крышке клавесина. По ее словам, «так как все эти женщины были очень живые, молодые девушки, то мы по вечерам, когда я удалялась к себе, поднимали страшную возню; жмурки были любимой игрой этой компании. Я училась тогда играть на клавесине у Арайи, регента итальянской капеллы императрицы; это значит, что когда Арайя приходил, он играл, а я прыгала по комнате: вечером крышка моего клавесина становилась нам очень полезною, потому что мы клали матрацы на спинки диванов, а на эти матрацы крышку клавесина, и это служило нам горкою, с которой мы катались»[53]. В Царском Селе осенью 1745 г. мы «провели несколько дней, — писала императрица, — не без великого шума и недоразумений; молодые люди

хотели танцевать, прыгать и играть в различные детские игры; старшие это осуждали»[54].

Во время поездки в Ревель в 1746 г. Екатерину и Петра всё время ругали за то, что они хотели затеять “petits jeux”. Зимой 1746 г. в покоях великого князя Петра Федоровича «бывало множество молодежи, которая только и делала, что прыгала и скакала; часто великий князь приходил с ними со всеми в мои внутренние апартаменты, и бог весть, как мы скакали». Самому старшему из этих посетителей не было и тринадцати лет, «оттого жмурки были в большом ходу, и часто плясали сплошь весь вечер»[55]. Одно из главных достоинств лакея Андрея Чернышева, удаленного императрицей от великокняжеской четы, состояло в том, что он «напаивал Крузе... и этим доставлял нам возможность невозбранно скакать и прыгать сколько угодно»[56]. Те же достоинства имел и купец Д. Шривер, также затем удаленный. Екатерина пишет, что в Летнем дворце «старалась развлечься, резвясь в своей комнате с горничными». В Петергофе «бегала целый день по садам» [57]. Не гуляла, а именно «бегала».

И в 1747 г. Екатерина продолжала прыгать. Она играла даже в передней императрицы Елизаветы. Описывая зиму 1747 г., она сообщает: «Ежедневно после обеда в шесть часов нужно было совершать экскурсию в большую галерею покоев императрицы, под предлогом хождения к ней на поклон; но ее там почти никогда не было видно; даже придворные ее по большей части там не бывали, фрейлины приходили аккуратно, и с ними мы затевали игру на час или два»[58]. В Гостилицах весной 1747 г. «поплясали и порезвились немного»[59]. Летом того же года в Петергофе продолжалось то же веселье. «Тут однажды вечером великому князю вздумалось поиграть в жмурки в моей комнате с моими горничными и его камердинерами. Поднялась очень продолжительная возня. Чоглокова явилась смутить веселье и положила конец этой забаве, столь же невинной, сколько шумной; она всех выбранила и всем присутствовавшим пригрозила гневом императрицы. Крузе получила нахлобучку, как и остальные; она пыталась объяснить, что не из-за чего было грозить гневом ее величества. Вся компания выжидала, за кем останется поле сражения; но Крузе была побеждена и ей пригрозили, что она будет удалена, как и все прочие, которые в этом ожидании с большой грустью приняли решение идти спать»[60]. В Царском Селе в 1748 г. «старались как можно больше веселиться; днем гуляли или ездили на охоту; качели играли также немалую роль»[61]. В Ораниенбауме Екатерина «весь день с ружьем на плече... охотилась» или играла с фрейлинами в волан[62].

В том же Ораниенбауме в 1747 г. Петр Федорович занимался собаками, «а я бегала, — пишет мемуаристка, — с ружьем на плече по лесам и долам»[63]. На следующий год в Ораниенбауме приставленные наблюдать за великокняжеской четой предпочитали «сиднем сидеть на одном месте», «я бегала одна», — сообщала Екатерина[64]. Еще через год там же она «могла гулять и бегать, когда и сколько хотела»[65].

Но Екатерина не только «бегала». В Ораниенбауме она «вставала ежедневно в три часа утра, чтобы пострелять до жары, а после обеда... ездила верхом на охоту»[66]. Рассказывая о поездке в Рогервик в 1746 г., мемуаристка призналась читателю: «Я страшно люблю верховую езду»[67]. Такое же упоминание содержится и в пассаже о посещении имения Софьина в 1748 г.[68] Тогда же в имении Чоглоковых Раево Екатерина «скакала во весь опор»[69]. «В этом меня не стесняли, — вспоминала императрица, — я могла скакать, сколько мне нравилось, и сломать себе шею, если я этого хотела; это всецело от меня зависело»[70]. В Царском Селе весной 1748 г. Екатерина «два раза в день выезжала на одноколке и стреляла птиц»[71]. В 1749 г. Ораниенбауме мемуаристка также предавалась любимым занятиям. «Там мы, и я в числе других проводили весь день с утра до вечера на охоте. Помнится, в этом году я несколько раз проводила верхом на лошади по тринадцать часов из двадцати четырех. Я страстно любила это занятие и была неутомима»[72].

Описание «вечного движения» Екатерины, как правило, подается с некоторой оговоркой: мемуаристка могла предаваться ему только в том случае, если ее в этом не стесняли. Так, упоминание о том, что, когда камер-фрау была пьяна, Екатерина с мужем могли скакать и прыгать сколько угодно, сопровождается наречием «невозбранно». В Ораниенбауме, в отличие от других мест, мемуаристка имела возможность гулять и бегать, когда и сколько хотела (“quand et aussi longtems que je voulais”)[73]. Тем самым мемуаристка нечувствительно подводит читателя к мысли, что ее подвижность служила источником конфликтов при дворе. Действительно, гипертрофированное изображение необыкновенной подвижности главной героини, независимо от того, какова была она в реальной жизни — неугомонная попрыгунья или же степенное существо, — выполняет важнейшую функцию. Ее «вечное движение» является одним из ключей к объяснению тех притеснений, которыми подвергался Малый двор на протяжении всех мемуаров. Подвижность молодости раздражает степенную старость, поэтому молодежь стараются ограничить во всем, что раздражает тех, кто значительно старше и много степеннее ее. Это вполне естественный конфликт возрастов и ничего более. Разумеется, никакой политики.

Другим ключом является описание аксессуаров светской жизни. Когда мемуаристка с упоением описывает свое увлечение ими, понятно, что она тем самым хочет убедить читателя в том, что поглощенная придворными развлечениями, обожавшая танцы и предпочитающая наряды, прически, украшения умным книгам девушка абсолютно аполитична. Это не ее интересы. Для окунувшейся в омут светских удовольствий великой княгини политика — terra incognita. Она не вписывается в этот яркий образ светской сибаритки[74]. Но это только одна сторона дела. Была и другая, непосредственно связанная с первой. Описывая свои наряды и прически, представляя себя существом необыкновенной женской привлекательности, взволновавшей воображение не одного мужчины, мемуаристка тем самым «подсказывает» внимательному читателю:

вот где кроются причины притеснений, которыми это простодушное, необыкновенно наивное существо подвергается со стороны стареющей императрицы, чья увядающая красота вызывает ревность к светским успехам невестки. Детализированное описание внешности Елизаветы Петровны, ее туалетов и «амуров» призвано не только отразить круг интересов мемуаристки, но и настроить читателя таким образом, чтобы он сам не мог не ожидать конфликтов между свекровью и невесткой именно на этой почве. Конфликтов неизбежных, естественных и закономерных. Для того, кто сам не пришел к такому заключению, мемуаристка поместила несколько ярких сцен, где открытым текстом всё названо своими именами. Вот несколько примеров.

«В день святого Александра Невского мне вздумалось надеть белое платье, отделанное по всем швам широким золотым испанским кружевом. Не представляя себе, что из этого могло выйти, я появилась в этом платье при дворе. Когда я вернулась в свои покои, императрица прислала мне сказать через Чоглокову, чтоб я сняла свое платье, и что мне не подобало иметь в тот день платье, похожее на костюм ордена: я попросила передать императрице свои извинения и сказала Чоглоковой, что никогда не подозревала, чтобы мое платье походило на костюм кавалеров ордена. Чоглокова согласилась со мною, но посоветовала надеть другое платье к послеобеденному времени, что я и сделала; действительно, кроме белого цвета, мое платье не имело никакого сходства с орденским, тоже белым, но с отделкой из серебряного галуна, с подкладкой, камзолом и отворотами огненного цвета. На мне была екатерининская лента; быть может, императрица нашла мое платье красивее своего и вот настоящая причина, из-за которой она велела мне снять его. Моя дорогая тетушка была очень подвержена такой мелочной зависти, не только в отношении ко мне, но и в отношении ко всем другим дамам; главным образом преследованию подвергались те, которые были моложе, чем она»[75].

Это одна из главных причин, убеждает мемуаристка читателя, по которым она подвергалась преследованиям Елизаветы. Другой пример этой «мелочной зависти». Летом 1749 г. в Софьино Екатерина подверглась публичному поношению императрицы за то, что из-за своей любви к нарядам оно постоянно входила в долги. Этот примечательный эпизод изложен в «Записках» так. После неудачной охоты Елизавета появилась за обеденным столом «и все присутствовавшие по косому взгляду исподлобья, какой она бросала, когда бывала рассержена, поняли, что она была не в духе». Вначале она говорила о скуке вчерашней охоты, потом в пух и прах разругала управляющего имением за то, что он берет взятки и пускает охотиться посторонних людей на ее земли. Затем разговор перешел на то, как отлично она охотилась при Петре II. После она вспомнила императрицу Анну и ту бедность, при которой она жила при этой императрице. «Она нам перечислила все свои тогдашние доходы и сказала: “Хотя у меня было тогда не более тридцати тысяч дохода, на которые я содержала весь свой дом, тем не менее у меня не было долгов”. При этом она бросила взгляд на меня.

“У меня их не было”, продолжала она, “потому что я боялась Бога и не хотела, чтобы моя душа пошла в ад, если бы я умерла, а долги мои остались бы не уплаченными”. Тут вторично был брошен на меня взгляд. Императрица продолжала: “Правда, дома я одевалась очень просто; обыкновенно я носила юбку из черного гризета и кофту из белой тафты; в деревне я также не одевалась в дорогие материи”. Тут она метнула на меня весьма гневными глазами — в этот день на мне была богатая кофта; я прекрасно поняла, что императрица страшно на меня злилась; я хранила молчание, по примеру присутствовавших, и слушала почтительно и не смущаясь. Ее величество еще долго продолжала в том же духе, переходя с одного предмета на другой, задирая то одних, то других, и возвращаясь почти постоянно к тому же припеву, который я должна была глотать». Разговор в таком духе, длившейся почти три четверти часа, продолжался бы и дальше, если бы шут неудачной выдумкой не испугал бы императрицу, которая поспешила ретироваться. «Возвратясь в мою палатку, — продолжает мемуаристка, — Чоглокова мне сказала: “Вот вы и получили нагоняй; поняли вы это?” Я ответила, что поняла, но что не знала, что именно раздражило ее величество против меня; она сказала мне, что также не знала. Могу поклясться, что не знаю этого и до сего дня»[76].

Мемуаристка лукавила. Она прекрасно знала, но читателя хотела убедить, будто бы не знает. Он должен был вынести из этого пассажа впечатление: великая княгиня тратилась на наряды и залезала из-за этого в долги. Хотя увядающая императрица бранила за траты, но на самом-то деле ее раздражали прекрасные наряды молодой и красивой девушки.

Становится понятным, почему в первой редакции образ Елизаветы, а она, как, впрочем, и великий князь Петр Федорович[77], только аксессуар автопортрета Екатерины, представлен в столь негативном виде. Все притеснения великой княгини исходят от капризного самодура, упивающегося своей неограниченной властью над подданными и дающего волю комплексам стареющей женщины. Картины, подтверждающие этот тезис, очень яркие и запоминающиеся, но достоверность их более чем сомнительна. Они не находят никакого подтверждения в других источниках. И скорее всего, это — не что иное, как плод воображения мемуаристки, искавшей «убедительных» объяснений преследования ее самое. Вот почему биографы, смакующие выразительные эпизоды, разоблачающие Елизавету, совершают непоправимую ошибку, принимая филиппики Екатерины за чистую монету[78]. Разумеется, политикой тут и не пахнет.

“Vous êtes un enfant”, “…j’etois un enfant”[79]

Упоминание о детских играх не случайно, как нет ничего случайного во всем тексте мемуаров. Екатерина ненавязчиво внушает читателю мысль, что она приехала в Россию ребенком, таковым оставалась на протяжении всего того времени, которое описано в первой редакции ее мемуаров. Доказательства

рассыпаны щедрой рукой автора едва ли не на каждой странице, где описано детство. Во время своей первой встречи с будущим мужем, Карлом Питером Ульрихом, в Эйтине, Екатерина «очень мало обращала на него внимания и слишком была занята молочным супом, который дважды в день в промежутки между едой готовила с горничными бабушки и затем ела; за обедом я была воздержана вплоть до десерта; сласти и фрукты составляли остальное в моем столе...» — типично детское ви́дение мира[80]. Рассказывая о посещении Вареля, мемуаристка очень ярко описывает графиню Бентинк и ее незаконнорожденного сына. Бентинк на ее вопрос, кто это такой, ответила, что это брат девицы Донер, которую она имела при себе, но другим знакомым без стеснения заявляла, что это ее сын, которого она родила от скорохода. Графиня надевала ребенку свой чепчик и при этом говорила: «Посмотрите, как он на меня похож!» Описывая эти подробности, Екатерина подчеркивает свою детскую наивность и непосредственность: «Я видела, как она это делала, но так как не понимала, что тут дурного, то приставала к ней, чтобы она велела принести этого ребенка в ее чепчике наверх к ее матери»[81].

В 1746 г. придворный врач Бургав «долго ощупывал мне череп и наконец сказал, что, хотя мне семнадцать лет, но голова была еще в таком состоянии, как у шестилетнего ребенка, и что я должна очень беречься, чтобы не простудить темя, словом, головные кости еще не срослись; он сказал мне, что кости эти срастутся к двадцати пяти-шести годам и что это было причиной моих головных болей. Я последовала его совету и, действительно, впадина, которая ощущалась между костями моей головы, исчезла лишь к двадцати пяти-шести годам, как он и предсказал»[82]. Поскольку же 25–26 лет Екатерине исполнилось только в 1754–1755 гг., а до этого периода мемуары «не дотягивают», на всем их протяжении мемуаристка остается девочкой с головой, «как у шестилетнего ребенка». Из этого отрывка можно заключить, что в описываемый мемуаристкой период она и чисто физиологически оставалась ребенком! Стоит ли удивляться тому, что и психологически она такой же ребенок. Какое впечатление, кроме детской наивности можно вынести из этого пассажа: «Первая, попавшаяся мне под руку книга, и первая также, которую я прочла по своей воле от начала до конца, была “Tiran le blanc”: мне очень нравилась принцесса, у которой кожа была так тонка, что, когда она пила красное вино, видно было, как оно течет у нее в горле»[83].

Сущий ребенок! Она оставалась таковым даже на исходе второго десятилетия своей жизни. 21 апреля 1748 г. ей пошел двадцатый год. «Я была совсем изумлена, — пишет Екатерина, — что дожила до этого; мне казалось, что так недавно была я еще лишь ребенком и со мною обращались, как с таковым»[84]. Стоит удивляться тому, что накануне замужества в августе 1745 г. шестнадцатилетняя ангальт-цербстская принцесса, ставшая российской великой княжной, еще не знает, в чем состоит «разница обоих полов»[85]. И остается таковой и после свадьбы. «Я ничего на это счет не знаю», — категорически заявляла Екатерина, описывая неудачу своей первой брачной ночи[86].

В Петербурге накануне Петрова дня «мне вздумалось уложить всех своих дам и также горничных в своей спальне. Для этого я велела постлать на полу свою постель и постели всей компании, и вот таким образом мы провели ночь; но прежде, чем нам заснуть, поднялся в нашей компании великий спор о разности обоих полов. Думаю, большинство из нас было в величайшем неведении; что меня касается, то могу поклясться, что, хотя мне уже исполнилось 16 лет, но я совершенно не знала, в чем состояла эта разница; я сделала больше того, я обещала моим женщинам спросить об этом на следующий день у матери; мне не перечили и все заснули. На следующий день я действительно задала матери несколько вопросов, и она меня выбранила»[87].

Этот «простодушно» рассказанный эпизод, предшествующий брачным торжествам, свидетельствует не столько о детской наивности героини, сколько о мастерстве мемуаристки, ее умении так построить свой материал, чтобы подспудно убедить читающего в том, что автор считает нужным внушить. Читатель не должен сомневаться: если девочка, вышедшая замуж, еще не знает, в чем состоит «разница полов», то горничную, у которой уже были «две любовные истории», следует удалить подальше от этого еще совсем невинного существа. Так считает императрица Елизавета Петровна и ход ее мысли, хотя неверен, но вполне понятен. Именно так должен думать читатель. Ему и в голову не придет, что причина удаления преданной Екатерине горничной может лежать совершенно в другой плоскости, вовсе не в амурной, а в политической. А именно это и нужно мемуаристке.

Наивная непосредственность Екатерины начала проявляться еще в раннем детстве, и она значительно превосходила ту естественность поведения, свойственную в той или иной степени всем детям. На свадьбе своей гувернантки «я опьянела за столом, — рассказывает Екатерина, — после чего вовсе не хотела ложиться спать без нее и так кричала, что должны были унести меня и уложить между отцом и матерью»[88]. Наивность девочки проявилась и при посещении двора прусского короля Фридриха Вильгельма в 1733 г. в Брауншвейге: «Меня ввели в комнату, где он находился; сделав ему реверанс, я, говорят, пошла прямо к матери, которая была рядом со вдовствующей герцогиней Брауншвейгской, ее теткой, и сказала им: “Почему у короля такой короткий костюм? Он ведь достаточно богат, чтобы иметь подлиннее?” Король захотел узнать, о чем я говорила; пришлось ему сказать; говорят, он посмеялся, но это ему не понравилось»[89].

О том, что это — не более чем авторский прием, свидетельствует «Автобиографическая записка». Здесь эпизод с платьем короля рассказан по-иному. «...когда мне было четыре года, в Штеттин приехал покойный прусский король; мне сказали, что следует поцеловать его камзол; он спросил обо мне, меня привели, я пошла к нему и, так как старалась поймать край его камзола, а он не позволял этого, то я повернулась в сторону матери и сказала ей угрюмо: “Его камзол так короток, что я не могу его достать”. Он спросил, что я сказала: не знаю, кто ему повторил это, он сказал: “Das Mädchen ist naseweis” (“Девочка

умничает". — *М. С.*) и с тех пор каждый раз, как мой отец ездил в Берлин или король приезжал в Штеттин, он меня к себе требовал»[90]. Как видим, различно указано место действия. В одном случае Штеттин, в другом — Берлин. Но и сам эпизод рассказан по-разному. Различие его трактовок объясняется довольно просто. В «Автобиографической записке» автор старается создать образ умной девочки, которая своими способностями уже в детстве обращала на себя внимание и вызвала неподдельный интерес у окружающих, в том числе у коронованных особ. При такой трактовке вполне естественно вложить в уста прусского короля фразу о том, что девочка умничает. В первой же редакции важнее всего показать наивную непосредственность ребенка. Для этого подбираются соответствующие слова, и реакция короля представлена прямо противоположным образом, нежели в «Автобиографической записке».

В семилетнем возрасте у Екатерины отобрали игрушки и куклы. Ей объяснили, что она уже большая, и ей не пристало их иметь. Но Екатерина продолжала в них играть: «...мои руки, платок и всё, что я находила, служило мне игрушкой; оттого я продолжала свое по-старому...»[91] Когда священник учил ее Закону Божьему, непосредственная девочка задавала ему вопросы, которые ставили его в неловкое положение. Она смутила пастора, потребовав объяснить ей, что такое «обрезание», и настолько прониклась рассказами духовника о Страшном суде, что «в течение целой осени каждый вечер на закате дня ходила... плакать к окошку»[92].

Другой случай, описанный мемуаристкой, был призван проиллюстрировать тот факт, что перед читателем — наивное существо, краснеющее при виде неискренности взрослых. Мать Екатерины, узнав, что по случаю кончины прусского короля берлинский двор будет носить траурные платья, заказала таковое себе, своей фрейлине и дочери. Она пыталась убедить сделать то же самое штеттинских дам, но они не пожелали ей следовать. Это вызвало раздор в штеттинском обществе. Мать Екатерины, надев новое придворное платье два раза, больше не появлялась в нем. В Берлине при дворе ее стали расспрашивать об этом эпизоде в присутствии дочери. Мать этот факт отрицала. «...я была, — писала Екатерина, — очень удивлена, слыша это: тут впервые я слышала, как отрицали факт; я подумала про себя: возможно ли, чтобы мать забыла обстоятельство, случившееся так недавно? Я чуть не напомнила ей, однако удержалась и, кажется, хорошо сделала»[93]. Таким образом, красной нитью через весь текст проходит мысль о том, что эти мемуары — это воспоминания простодушной девушки, почти ребенка, искренность которой граничит с детской непосредственностью, почти наивностью. Ее подкупающая детскость ничего не теряет от соприкосновения с жестокой взрослой действительностью, а как раз наоборот, является залогом того, что в столкновениях со «злом» чистая душа всегда выходит победителем, потому что не позволяет нравственным противникам деформировать себя.

"Une laideron achevée"[94]

Чтобы усилить впечатление, Екатерина помещает в мемуары рассказ о том, как она из гадкого утенка превратилась в прекрасного лебедя. Чтобы эффект превращения получился сильным, мемуаристка не жалеет черных красок в показе своего детского уродства. Она подробно описывает свои детские болезни. До семилетнего возраста ничем серьезным не болела. «Я была только подвержена тому, что голова и руки покрывались известного рода коростой, которая так часто появляется у детей: в России ее зовут золотухой и стараться лечить ее очень опасно; оттого мне и не давали никакого лекарства. Когда она появлялась на голове, мне стригли волосы, пудрили голову и заставляли меня носить чепчик. Когда она появлялась на руках, мне надевали перчатки, которые я совсем не снимала до тех пор, пока не отпадали корки»[95]. В семь лет она чуть не стала калекой на всю жизнь. Всё началось с сильного кашля. Девочка простудилась, стоя на коленях во время молитвы. Затем «от натуги повалилась наземь, на левый бок, и начала чувствовать такие колотья, что они захватили дыханье». Девочку перенесли на кровать. Там она оставалась в течение трех недель, лежа постоянно на левом боку. Врача не было, давали разные лекарства, которые сами и назначали. Когда она, наконец, поднялась с кровати и ее стали одевать, то увидели, что она «скорчилась... наподобие буквы Z: правое плечо стало выше левого, позвоночник шел зигзагом, а в левом боку образовалась впадина». Родители старались скрыть от публики, что их дочь растет калекой. В глубокой тайне посоветовались с опытными людьми, стали тщетно искать сведущего человека, который был бы в состоянии исправить искривление. Единственным, кто мог это сделать, оказался местный палач. Надо думать, знаток анатомии человека. В глубочайшей тайне его призвали. Он приказал горничной натощак натирать плечо и позвоночник девочке собственной слюной. Палач соорудил корсет, который Екатерина носила днем и ночью. Он заставил девочку носить широкую черную ленту. Она шла вокруг шеи, охватывала правое плечо, правую руку с правого плеча и закреплялась на спине. Это сооружение Екатерина носила полтора года. Только тогда появилась надежда на то, что она не останется кривобокой на всю жизнь. Возможность снять корсет появилась только к десяти или одиннадцати годам[96]. Но она еще долго оставалась дурнушкой. «Не знаю наверное, — пишет Екатерина, — были ли я некрасива в детстве; но я хорошо знаю, что мне много твердили об этом и говорили, что потому мне следовало позаботиться о приобретении ума и достоинств, так что я была убеждена до 14 или 15 лет, будто я совсем дурнушка, и я действительно гораздо больше старалась о приобретении достоинств, нежели думала о своей наружности. Правда, я видела чрезвычайно дурной портрет, написанный с меня в десятилетнем возрасте; если он в самом деле был похож, то меня не обманывали»[97].

Небесполезно сравнить, как этот же эпизод представлен в «Автобиографической записке». Здесь о болезни упоминается, но рассказ о ней вовсе не так

драматичен. Зловещая фигура палача-исцелителя отсутствует. Спасителем оказывается некая женщина. Правда, говорится, что девочка из-за болезни шеи провела в постели не три недели, а шесть месяцев и от этого могла оказаться горбатой. Есть упоминание о натирании слюной и об особом корсете, правда, как он был устроен, не сообщается. Но выздоровление наступает не через три-четыре года, как потом утверждала мемуаристка, а менее чем год спустя[98]. Понятно, в «Автобиографической записке» нет новеллы о метаморфозе гадкого утенка в лебедя и поэтому поражающие воображение ужасающие детали не нужны.

“C’était un amoureux transit, tout renfermé dans dans lui même, qui perdait le sommeil, le boire, le manger et surtout sa gaieté naturelle…”[99]

Описывая первые «победы» на амурном фронте, Екатерина всячески подчеркивает, что это получалось само собой, она не только якобы ничего для этого не делала, но, напротив, в силу своей детской наивности, узнавала о них последней. «Принц Генрих Прусский стал меня очень отличать; это значит, что на каждом балу мы танцевали вместе... Между тем я услышала однажды, что герцогиня... Брауншвейгская, сестра принца, шептала что-то на ухо моей матери по поводу склонности ее брата ко мне; в результате я стала замечать, что он оказывал мне внимание. *Моя невинность была причиной того, что я раньше вовсе этого не заметила. Кроме того, я не считала себя созданной, чтобы нравиться; я вовсе не заботилась о нарядах: мне внушили отвращение ко всякому кокетству; я даже не знала, в чем оно состоит, и знала одно только название*» (курсив мой. — *М. С.*)[100].

В 1742 г. в Дорнбурге принц Вильгельм Саксен-Готский «становился в церкви всегда возле меня; понравился ли ему мой голос, никогда впрочем никого не восхищавший, или по какой иной причине, стали только говорить, что он хотел на мне жениться, что отец ему отказал...»[101] Еще выразительнее описан платонический роман с дядей — братом матери Екатерины Георгом Людвигом. Дядя часто посещал дом матери. Мать была в восхищении от его любезности. Когда ее не было дома или она была чем-то занята, Георг Людвиг, пишет мемуаристка, «приходил ко мне в комнату; он был на 10 лет старше меня и чрезвычайно веселого нрава, да я тоже; ничего дурного в этих посещениях не видала и очень его любила. Он оказывал мне тысячу любезностей. Бабет Кардель первая сочла нужным высказаться против ухаживаний дяди; когда мы были в Берлине, она находила, что он мешал моему учению <...> Когда мы собрались в Гамбург, где Бабет не было, потому что она осталась с моей сестрой, ухаживания моего дяди усилились. Я принимала это за чистую дружбу, и мы не расставались. Из Гамбурга мы поехали в Брауншвейг. Дядя сказал мне доро-

гой: “Я там буду стеснен; мне нельзя будет говорить с вами так же свободно, как я к этому привык”. Я ему ответила: “А почему же?” — “Потому”, сказал он, “что это дало бы повод к сплетням, которых надо избегать”. Я сказала ему еще раз: “Но почему же?” Он не захотел мне ответить и в самом деле резко изменил в Брауншвейге свое поведение: он реже видел меня и меньше говорил. Он стал задумчив и рассеян; зато вечером в комнате матери он уводил меня в сторону к окну и всё только жаловался на свою судьбу и стеснения, которые он терпел. Однажды у него невольно вырвалось признание, что ему всего тяжелее быть моим дядей. Я очень невинно до тех пор его утешала, как только умела, и не знала настоящей причины его горести; поэтому я была очень удивлена этими речами и спросила его, что я ему сделала и не сердится ли он на меня? Он мне ответил: “Вовсе не то, но дело в том, что я вас слишком люблю”. Я простодушно поблагодарила его за дружбу; тогда он рассердился и резко сказал мне: “*Вы ребенок, с которым нет возможности говорить*” (курсив мой. — *М. С.*) Я захотела оправдаться и просила объяснить мне причину его огорчения, в котором ничего не понимала. Я очень к нему приставала. “Ну”, сказал он, “хватит ли у вас дружбы ко мне, чтоб утешить меня по-моему?” Я уверяла, что “да” и что он не должен в этом сомневаться. “Обещайте же мне”, сказал он, “что вы выйдете за меня замуж”. Я была поражена этими словами, как ударом грома; я вовсе не думала о подобной развязке; моя дружба была чиста, и я любила его как брата своей матери, к которому привыкла и который оказывал мне тысячу любезностей; я не знала о любви и никогда не предполагала ее в нем. Он увидал мое изумление и замолчал; я ему сказала: “Вы шутите; вы мой дядя; отец и мать не захотят”. — “И вы тоже”, сказал он. Мать меня позвала, и в это вечер дело тем кончилось; зато он не сводил с меня глаз и ухаживал за мною больше, чем когда-либо; но я себя чувствовала с ним более стесненной, чем прежде. При первой возможности он возобновил прерванную беседу и стал говорить о своей страсти ко мне, не стесняясь больше. Он был тогда очень красив; глаза у него были чудесные; он знал мой характер, я уже свыклась с ним; он начал мне нравиться, и я его не избегала. Он-таки добился моего согласия выйти за него замуж, под условием, что отец и мать не окажут никакого препятствия... Получив мое согласие, дядя со всей силой отдался своей страсти, не знавшей границ; он ловил мгновения, чтобы меня поцеловать, он умел их создавать; однако, если не считать нескольких объятий, всё обошлось очень невинно. Между тем он был по-прежнему задумчив и рассеян; часто он стоял возле меня и не говорил ни слова; я старалась его расшевелить. Но он издавал только вздохи и стоны; я ничего не понимала в его поведении. Он был влюблен по уши, замкнулся в себе, потерял сон, аппетит и, главное, свою врожденную веселость; я больше не знала, как держать себя с ним. Прежде, чем покинуть Брауншвейг, он добился от меня обещания, что я его не забуду. Он не мог выносить, чтобы произносили имя Генриха Прусского, в котором он подозревал склонность ко мне; я никогда хорошенько не узнала, в чем было дело. Дядя уехал из Брауншвейга,

мы направили свой путь в Цербст. Мать вовсе не намеревалась ехать этой зимой в Берлин»[102].

Очевидно, ключевое слово в этом описании вложено в уста Георга Людвига: «Вы — ребенок». Трудно было бы сочинить иную сцену, которая с такой предельной ясностью представила бы Екатерину как существо совершенно невинное и бесхитростное, но обладающее необыкновенной притягательной силой. В «Автобиографической записке» Екатерина рассказывает нечто иное: в Берлине ее часто видел принц Генрих Прусский, она ему «понравилась» и он сказал об этом своим сестрам герцогине Брауншвейгской и королеве Шведской. Та всё передала матери Екатерины, но Иоганна Елизавета заявила, что ее дочь «еще ребенок». «Действительно, — писала Екатерина, — мне было только 13 лет, но [я была] больше ростом и более развита физически, чем бывает обыкновенно в мои годы; не знаю, как я догадалась об этих переговорах, и не была ими недовольна»[103]. О романе же с дядей в «Автобиографической записке» нет ни слова. Скорее всего, так ярко описанный «роман» с Георгом Людвигом — выдумка мемуаристки. Ей очень важно было показать, что вопреки пренебрежению, которое ей потом оказывал ее супруг Петр Федорович, она такого отношения к себе не заслуживала. Напротив, ничего не предпринимая, она нравилась, и даже весьма сильно. Ее руки искали видные женихи, и чтобы проиллюстрировать этот тезис, Екатерина роль несостоявшегося жениха отводила то одному, то другому лицу. Любопытно, что даже в уста Г.-А. Гюлленборгу Екатерина-мемуаристка вкладывает такую красноречивую фразу: “quel dommage que vous allez être mariée” («как жаль, что вы выходите замуж»)[104]. У шведского дипломата эти слова вырвались, когда он прочитал записку пятнадцатилетней принцессы о самой себе. Приводя этот пассаж, мемуаристка старается убедить читателя в том, что она уже тогда была неотразима и нравилась незаурядным мужчинам, но муж ее не был в состоянии это оценить.

Весь рассказ о романе с дядей — плод талантливого пера Екатерины. Кроме того, описание этого «романа» несет еще одну важную смысловую нагрузку. Важно подчеркнуть: Екатерина дала слово дяде выйти за него замуж. Очевидно, этот сюжетный ход продиктован тем, что ей необходимо показать себя с лучшей стороны в истории брачных переговоров о свадьбе с Петром III. Эпизод с приглашением в Россию в тексте следует сразу же после описания «романа» с дядей.

“…ce fut moi qui les y déterminais…”[105]

Когда в 1743 г. Карл Питер Ульрих Шлезвиг-Голштинский был объявлен наследником российского престола, забрезжила перспектива брачного союза с ним. Когда ранее в семье Екатерины обсуждали вопрос о ее будущем замужестве, мать говорила: «Нет, не за этого; ему нужна жена, которая влиянием

или могуществом дома, из которого она выйдет, могла бы поддержать права и притязания этого герцога; следовательно, дочь моя ему не подходит». Но после того как он стал наследником престола Российской империи «уже не говорили больше, что я, — писала Екатерина, — неподходящая партия для русского великого князя, и молча улыбались. Это взволновало меня, и в глубине души я предназначала себя ему, потому что из всех предположенных партий эта была самая значительная»[106].

В январе 1744 г. Иоганне Елизавете пришло приглашение отправиться в Россию вместе со старшей дочерью. Екатерина описывает поведение родителей так. Мать уже смотрела на нее как на будущую невесту. Хотя Екатерина пишет, что она никогда не узнала, дала ли мать какие-либо обещания Георгу Людвигу, однако была склонна думать, что дело обстояло именно так. Поэтому Иоганна Елизавета «отклонила отца от мысли о нашей поездке в Россию». Далее следует важнейший тезис мемуаристки: «*Я сама заставила их обоих на это решиться*» (курсив мой. — *М. С.*)[107]. Екатерина подробно описывает, как ей удалось склонить родителей на свою сторону. Она якобы принесла матери записку, в которой содержалось полученное с помощью гадания пророчество: «Предвещаю по всему, что Петр III будет твоим супругом». Мать была удивлена. Дочь же воспользовалась этой минутой, «чтобы сказать ей, что если действительно ей делают подобные предложения из России, то не следовало от них отказываться, что это было бы счастье для меня». Мать возражала, что в России дела находятся в неустойчивом положении, поэтому соглашаться на предложение значит сильно рисковать. На это дочь, вверившаяся Провидению, ответила: «Бог позаботится об их устойчивости, если есть его воля на то, чтобы это было; что я чувствовала в себе достаточно мужества, чтобы подвергнуться этой опасности, и что сердце мне говорило, что всё пройдет хорошо». Тогда мать употребила еще один «решающий» аргумент: «“А мой брат Георг, что он скажет?” (тут в первый раз она заговорила о нем со мною)». Екатерина покраснела и ответила: «Он только может желать моего благополучия и счастья»[108]. Возразить было нечего. Она отправилась переговорить с отцом, «который желал отклонить всё дело, равно как и поездку». У Екатерины состоялся разговор с отцом. Дочь и его сумела убедить в своей правоте. «Я ему сказала, что как дело шло обо мне, то пусть он позволит указать ему, что поездка ни к чему не обязывает, что по приезде на место мы с матерью увидим, надо ли возвращаться, или нет, наконец я его убедила разрешить поездку»[109]. Становиться понятным, зачем мемуаристке понадобилось описание душещипательного «романа» с Георгом Людвигом. Он введен в повествование для того, чтобы подчеркнуть целеустремленность принцессы Фике: несмотря на радужные перспективы замужества, она твердо идет своей дорогой.

Итак, Екатерина рисует себя человеком, который верит в Провидение, а свою заслугу видит в том, что, несмотря на юный возраст, решительно и мужественно следует зову своей судьбы, в которую безгранично верит, пренебрегая

поджидавшими ее опасностями. В этой вере она даже превосходит своих родителей, готовых отступить перед трудностями. В «Автобиографической записке» эпизод с приглашением в Россию и роль самой Екатерины в решении принять его описан по-другому. Здесь родители были против поездки в Россию, потому что находили это рискованным и хотели отказаться от такого предложения, не посоветовавшись даже с дочерью. Но поскольку дочь посредством гадания узнала об этом предложении, ее мать спросила, что она об этом думает. «Я ей сказала: “Раз вам это не угодно, как я могу осмелиться этого желать?”». Ответ послушной дочери, превыше всего ставившей послушание родительской воле! Другой образ автора. И поступки его иные.

На возражение матери, что ей кажется, что дочь вовсе не против поездки, Екатерина ответила слезами. «Мысль покинуть ее и особенно отца, который питал ко мне чрезвычайную нежность, так сильно тронула меня в эту минуту, что я принялась плакать. Отец вошел, поцеловал меня и сказал, что он совсем не станет принуждать меня к столь важному поступку, что мать поедет под предлогом поблагодарить Ее величество за все милости, какие ее семья от нее получила <...> Он прибавил, что если я даже не захочу сопровождать мою мать, то это будет зависеть от меня, а если я поеду и вернусь, то я буду всегда желанной гостьей, что он знает все неудобства и никоим образом не желает иметь основание упрекать себя за то, что сделал меня несчастной. Я залилась слезами: это была одна из трогательнейших минут моей жизни; тысячу различных побуждений волновали меня: благодарность за доброту моего отца, страх не угодить ему, привычка слепо ему повиноваться, нежность, которую я к нему всегда питала; уважение, которого он заслуживал, преодолело; действительно никогда человек не заслуживал его больше, самая чистая добродетель направляла его шаги»[110].

Мемуаристка — образец послушания, следовала не зову судьбы, а приказаниям родителя. Разнятся и детали в обоих текстах. В первом случае письмо из России пришло 1 января 1744 г. и было передано отцу[111]. Во втором же почта прибыла 6 января, и ее передали в руки матери[112]. Бросается в глаза и то, что способ гадания, посредством которого девочка узнала содержание пригласительного письма, изложен в «Автобиографической записке» и в первой редакции различно. В последнем случае Екатерина угадывает посредством искусства одного человека, который делал это с помощью «точек и цифр»[113]. Ранее же говорилось: Екатерина воспользовалась умением одной женщины, выводившей из имени мужчины имя его нареченной[114]. Кроме того, ни в том, ни в другом случае «бумажка», которую дочь принесла матери, не могла содержать упоминание о Петре III — такого имени великий князь Петр Федорович тогда еще не имел. Скорее всего, весь эпизод выдуман Екатериной с разными целями.

Когда писалась «Автобиографическая записка», Екатерина была еще только великой княгиней, женой престолонаследника. Тогда она считала выгодным представить себя послушной дочерью. Первую же редакцию составляла уже императрица, десять лет занимавшая российский престол. Теперь она находила

более предпочтительным создать образ девушки, следующей по дороге, которую ей предназначило самое Провидение. Создавая образ монархини, избранной судьбой для российского трона, мемуаристка старается внушить читателю: Провидение остановило свой выбор на самой достойной.

“La fortine n’est pas aussi auvegle…”[115]

Мысль о том, что Провидение не так слепо, как его себе представляют, а счастье отдельных личностей является следствием главным образом их качеств и характера, Екатерина предельно четко сформулировала в эпиграфе ко второй редакции своих мемуаров, созданной в первой половине 1790-х гг.[116] Но когда мемуаристка работала над первой их редакцией, она уже прониклась этой идеей и попыталась воплотить ее в первоначальном тексте, еще не выражая ее в афористической формулировке. Первая редакция содержит описание личных качеств автора, которые и послужили основанием ее блестящей фортуны. Мемуаристка не пропускает случая подчеркнуть, что с младенчества была необыкновенно смела, мужественна, принципиальна, несмотря на свою детскую наивность, уступала «только разуму и кротости; на всякий отпор... отвечала отпором»[117].

В подтверждение тезиса о своем бесстрашии она рассказывает такой эпизод из своего детства. В 1740 г. в Брауншвейге, пишет Екатерина, «со мной случилось странное событие: я спала в одной комнате... вместе с Каин, фрейлиной матери; моя кровать стояла у стены, а ее на небольшом расстоянии от моей; очень узкий проход разделял обе наши кровати; другой проход оставался между окнами и кроватью Каин. На столе между окнами поставили серебряный кувшин с тазом и ночник. Единственная дверь этой комнаты находилась в ногах кроватей и была закрыта. Около полуночи кто-то внезапно разбудил меня, улегшись на постель рядом со мной; я открыла глаза и увидела, что это была Каин. Я ее спросила: как это случилось, что она легла на мою постель? Она мне сказала: «Ради Бога, оставьте меня и спите». Я хотела узнать, что заставило ее сойти со своей кровати, чтобы лечь со мной. Она дрожала от испуга и почти не могла говорить. Наконец я так к ней пристала, что она сказала: «Разве вы не видите, что происходит в комнате, что находится на столе» и с головой закрылась одеялом. Тогда я встала на колени и просунула руку через нее, чтоб открыть полог и посмотреть, что там такое; но, право, я ничего не увидела и не услышала; дверь была закрыта, свеча, серебряный таз и кувшин были на столе; я ей сказала, что видела; она стала немного спокойнее и несколько минут спустя встала и заперла на задвижку дверь, которая, впрочем, была уже закрыта. Я снова заснула и на следующее утро увидела ее осунувшейся и имевшей вид человека не в своем уме. Я хотела узнать причину этого и что именно ей показалось ночью; она мне ответила, что не может сказать. Я знала, что она верит в привидения

и призраки; очень часто она уверяла меня, что ей являлись видения; она говорила, что родилась в воскресенье и что все, кто родился в какой-нибудь другой день недели, не имели такого хорошего зрения, как она... *Я часто удивлялась, что это приключение не сделало меня трусливой»* (курсив мой. — *М. С.*)[118].

Иной пример бесстрашия Екатерины и ее принципиальности. У Б. Кардель в Дорнбурге «через каждые три дня была перемежающаяся лихорадка; мать запретила мне видеть Бабет во время приступов этой лихорадки из боязни, чтоб я не заболела от дурного воздуха; несмотря на это запрещение, я бегала к ней так часто, как только могла вырваться, и делала для ухода за ней всё, что могла придумать; помню, что однажды я заваривала ей чай, когда ушла ее горничная; в другой раз я давала ей лекарства; наконец, оказывала ей все мелкие услуги, какие могла»[119]. Но при этом девочка была очень принципиальна. Когда Бабет Кардель пыталась узнать у нее подробности, связанные с пригласительным письмом, Екатерина категорически отказалась удовлетворять ее любопытство. «Добрый друг мой, представьте себе, можно ли было сказать то, что мне запретили бы?» Кардель надулась. Мемуаристка пишет, что страдала из-за этого, «*но мои принципы были сильнее моей дружбы в эту минуту*» (курсив мой. — *М. С.*)[120].

Становится понятно, почему Екатерина так подробно, со смаком описывает свое уродство после приключившейся с ней болезни. Следующая ключевая фраза исчерпывающе объясняет это. «Не знаю наверное, была ли я в действительно некрасива в детстве; но я хорошо знаю, что мне много твердили об этом и говорили, что поэтому мне следовало позаботиться о приобретении ума и достоинств» (“du mérite et de l’esprit”)[121]. Поэтому до четырнадцати-пятнадцати лет Екатерина «гораздо более старалась о приобретении достоинств, нежели о своей наружности»[122]. Примечательно, что этот пассаж помещен в тексте сразу же после упоминания о том, что Больхаген проповедовал ей.

“Je devait tâcher d’acquérir du mêrite et de l’esprit…”[123]

Если составить психологический портрет Екатерины, как она представила его читателю, то получится целый букет достоинств. Одних достоинств! И каких!

Одна из основных черт характера мемуаристки — покорность. Слушаться старших ее научили еще в детстве: она умела «только повиноваться»[124]. Екатерина — образцовая дочь. Она оказывала полное почтение к матери, поступала чрезвычайно осторожно в щекотливых ситуациях, спровоцированных Иоганной Елизаветой в России[125], старалась ухаживать за ней, как только могла[126], заплатила ее долги, когда ее родительница покинула Петербург[127]. Разумеется, Екатерина безоговорочно подчинялась воле Елизаветы Петровны, своей «тетки». Повеления императрицы были для нее «непреложным законом»[128]. По словам мемуаристки, она умела лишь повиноваться «приказаниям и воле» государыни[129]. Свидетельства этого щедрой рукой рассыпаны по тексту мемуаров. Когда Елизавета запретила дамам Екатерины входить в ее внутренние покои, мемуаристка приняла это

монаршее приказание «с покорностью», хотя и со слезами на глазах[130]. Во время поездки в Ревель только что назначенная обер-гофмейстериной М. С. Чоглокова, действуя от имени императрицы, подвергла Екатерину мелочной опеке, и великая княгиня «покорилась своей участи»[131]. Весной 1750 г. Чоглокова устроила по приказу императрицы разнос великой княгине из-за ее бездетности и пригрозила прислать повивальную бабку для унизительного медицинского осмотра. В этой щекотливой и малоприятной для девушки ситуации мемуаристка заявила: раз Елизавета Петровна ее госпожа, то она «ничего не может противопоставить ее воле» и «в точности последует приказаниям ее величества»[132].

Екатерина старалась угодить императрице, впрочем, как и мужу и всему обществу. С этой целью она употребляла «угодливость, покорность, уважение, желание нравиться», старалась «поступать как следует», демонстрировала «искреннюю привязанность». Вся ее жизнь в России была «изысканием средств, как этого достигнуть»[133]. Екатерина сумела завоевать любовь «народа», т.е. общества. С мужем она потерпела полное фиаско. Поскольку он проявлял к ней полнейшее равнодушие, она была вынуждена, чтобы не стать несчастной, не любить его. Но делала всё от нее зависящее, чтобы облегчить, сколь возможно, жизнь супруга.

В отношениях с Петром Федоровичем мемуаристка старалась предоставить ему утешение, когда он находился в критических ситуациях. Внушала ему мужество[134]. Утешала его, когда он страдал[135]. Несмотря на то что муж очень утомлял ее своими разговорами о мелочных подробностях военной службы и заставлял ее скучать, Екатерина проявляла необыкновенную деликатность: поддерживала неинтересный ей разговор и не давала почувствовать, насколько она изнемогала от усталости и скуки. Старалась сохранить доверие и расположение великого князя. Чтобы угодить нелюбимому мужу, она проявляла необыкновенную уступчивость[136]. Позволяла ему играть в игрушки на своей постели до часа ночи[137]. Принимала участие в ребяческих забавах, когда великий князь обучал военному делу своих камердинеров и лакеев. У нее даже был свой чин[138]. Подстраиваясь под детские увлечения мужа, Екатерина научилась выполнять все оружейные приемы, стояла в карауле с тяжелым мушкетом на плече, хотя предпочла бы читать книги[139]. Великая княгиня старалась остеречь Петра против его ребячеств, хотя успеха не имела[140]. Отговаривала его от намерения просверлить дырки в двери, ведущей в комнату императрицы[141]. Она боролась изо всех сил против «постыдной вредной наклонности» Петра к родной Голштинии, но также тщетно[142]. Екатерина принимала во всем, что касалось мужа, искреннее участие. Плакала оттого, что иногда он вел себя совершенно непристойно[143]. Старалась умиротворить его, когда он отчаянно спорил[144].

С императрицей дела обстояли тоже не очень благополучно. Хотя мемуаристка «не раз успевала» в этом, но полного успеха ей достичь не удавалось. Вина в этом лежала на самой Елизавете. Великая княгиня была слишком застенчива в отношениях с ней, проявляла сдержанность, подбирала каждое

выражение, взвешивала всякое слово[145]. Но ей всегда казалось, что императрица готова «напасть» на нее. Нельзя было быть «более осторожной», нежели мемуаристка была в глубине души, чтобы «не нарушить должное ее величеству почтение и послушание». Тем не менее императрица всегда была ей «недовольна» и почти всегда избегала вступать с ней в разговор[146]. Если бы Екатерина обладала большей дерзостью и проявляла бы при этом меньше чувства, она бы достигла гораздо большего, но приходилось сдавать позиции[147] и переносить безропотно разносы, которые устраивала императрица.

И это всё — невинному созданию, почти ребенку, простому и наивному, обладавшему рядом похвальных качеств. От природы мемуаристка была добра и сострадательна. Она милосердна к больной воспитательнице Б. Кардель[148]. Во время обрушения загородного дома А. Г. Разумовского спасла жизнь камерфрау М. Крузе[149], просила императрицу отблагодарить сержанта И. М. Левашева, спасшего ей жизнь во время этого инцидента[150]. Посылала деньги и подарки А. Г. Чернышеву, пострадавшему за преданность к ней[151]. Нашла жениха своей камер-юнгфере М. П. Жуковой, высланной из-за привязанности к своей госпоже[152]. Поощряла тягу юного И. И. Шувалова к чтению, способствовала его карьере[153]. Приобрела репутацию человека сдержанного, с которым не только ее приближенные, но придворные говорили, не опасаясь последствий[154]. Екатерина была проста и «бесхитростна»[155]. Сдружилась с дочерью обер-гофмейстерины М. А. Румянцевой, несмотря на то что последняя клеветала на нее. По-детски привязалась к камер-лакею А. Г. Чернышеву, за что и пострадала[156]. Но рассказывая о своем бесконфликтном характере, мемуаристка ясно дала понять читателю, что, несмотря на гибкость и умение идти на уступки и компромиссы, она обладала твердым характером и имела принципы, которых строго придерживалась. С детства она любила справедливость, чуть было не подверглась порке розгами из-за этого[157]. Она вступила в отчаянный спор с М. С. Чоглоковой из-за перестановки канапе в комнате, потому что думала, что на ее стороне справедливость[158]. Для нее принципы были сильнее дружбы[159].

Важной чертой психологического портрета мемуаристки является то, что она никогда не жалуется: природная гордость и возвышенная душа не позволяют. Не могла допустить, чтобы думали, что она нелюбима и презираема мужем[160]. Всегда скрывала свои слезы — проявление слабости[161]. Если кто-либо проявлял жалость по отношению к ней, то она впадала в отчаяние. Слишком уважала себя, чтобы считать себя заслужившей такую участь[162]. Старалась не быть никому в тягость[163].

Другими словами, мемуаристка хочет сказать, что никто из современников даже не догадывался о том, что она была глубоко несчастна, никогда ее не видели плачущей, хотя она плакала много и часто, но украдкой, так чтоб никто не видел. А причин быть несчастной у нее было более чем достаточно. Часто она впадала в ипохондрию, сопровождаемую слезами. Можно было бы только удивляться тому, что у нее не было чахотки. В ее положении десять человек сошли бы с ума, а двадцать умерли бы от горя[164]. Она постоянно скучала[165]. Не было создания более несчастного, чем она[166]. У нее начались головные боли и бессонница[167]. Развивалась меланхолия. В определенные периоды у нее появлялось желание плакать без видимой причины и видеть всё в черном свете. Она худела, у нее была слабая грудь[168]. Но ее поддерживала вера в Провидение: рано или поздно она станет российской императрицей. «...врожденное предчувствие моего будущего положения — оно постоянно давало мне мужество переносить всё, что я должна была претерпевать, и выносить ежедневно и с разных сторон неприятности»[169].

“…un pressentiment innée de mon état future…”[170]

Вера в Провидение пробуждала мемуаристку неукоснительно следовать заповедям Больхагена. В тексте мемуаров как бы между прочим представлены незаурядные умственные способности героини и дано довольно подробное описание приобретенных ею добродетелей.

В самом деле, в пять лет она уже писала письма матери[171]. С ранних лет за ней замечали хорошую память. Будучи еще ребенком, она уже проявляла истинную религиозность и учила стихи из Библии[172]. Каждый день, стоя на коленях, читала утренние и вечерние молитвы. Она даже тяжело заболела во время этой процедуры. Девочка боялась Страшного суда[173]. Уже в детстве возымела большое уважение к православной церкви как самой древней. Очень интересовалась ее учением и обрядами[174]. Поэтому без колебаний приняла решение о переходе в православие[175]. Четко и ясно произнесла символ веры во время церемонии принятия православия. Этим вызвала умиление и слезы императрицы Елизаветы Петровны, а также всего российского двора[176]. Просила позволения у Елизаветы говеть во время поста и заслужила признательность государыни[177]. Ни в коем случае не хотела говеть во время регул[178]. Проявляла большую щепетильность на этот счет. Спрашивала разрешения у императрицы пойти в баню на той неделе, когда начинала говеть во время Великого поста[179]. В этом отношении она даже превзошла самое Елизавету. В 1749 г. в Москве, вернувшись с праздника у С. Ф. Апраксина, где ее чуть было не заразили оспой, Екатерина решила не раздеваться и не ложиться в постель, чтобы рано утром присутствовать на службе в Великую субботу по случаю погребения Спасителя. В таком положении она просидела на стуле с четырех утра до трех часов пополудни, голодная, не смея спросить даже чашку чая. Попросить корку хлеба означало бы нарушить законы благочестия. Екатерина хранила молчание, дремала и страдала. Когда великая княгиня «потащилась к обедне», она узнала: столь долгое промедление было вызвано тем, что императрица между заутреней и обедней была в бане. Устами камер-фрау П. Н. Владиславовой мемуаристка осудила императрицу: «Как можно было туда идти в такой большой праздник, как Благовещенье!» Далее Екатерина сообщает, что передает этот факт для того, «чтобы дать понять, как

легко было тогда привести в негодование большую часть народа, который, конечно, в то время думал еще так же, как Владиславова». Прасковья же Никитична «была чрезвычайно набожна и строга на всякие мелочи». Этот случай заставил Екатерину сделать важное заключение: «стараться избегать во всем и повсюду, вплоть до малейшей безделицы, того, что могло бы оскорбить это расположение народного духа, господствующее тогда еще над толпой». «Я приложила тем больше стараний сообразоваться с этим, — заключила мемуаристка, — что знала правило, которое гласит, что очень часто более вредит в общей сложности пренебрежение такого рода безделицами, чем предметами существенными, потому что умов, склонных к мелочам, гораздо больше, чем людей разумных, которые их презирают». Стоит ли удивляться тому, что на следующий день в Пасху в Большой церкви головинского дома во время обедни Екатерина стойко перенесла жуткий холод, несмотря на то что была «синя, как слива»[180].

Полный контраст с Екатериной в религиозном отношении представлял ее муж, будущий император Петр III. Он не только не соблюдал обрядов православной церкви, но был, по словам мемуаристки, атеистом и откровенно кощунствовал. Читатель не мог не прийти к заключению: из трех помазанников божьих, сидевших на российском престоле, — Елизаветы Петровны, Петра Федоровича и Екатерины Алексеевны — самой достойной носить корону православной России оказывалась мемуаристка!

И отнюдь не случайно, описывая семейную дискуссию, возникшую по поводу приглашения в Россию, когда четырнадцатилетняя девочка проявила недюжинную самостоятельность, предрешившую ее историческую судьбу, мемуаристка как бы невзначай дает понять: родители прислушались к ее мнению потому, что достоинства их ребенка уже тогда были распознаны хотя посторонними, но весьма влиятельными людьми. Так мемуаристка устами шведского дипломата Г. А. Гюлленборга дает себе дифирамбическую характеристику, из которой следует: эта девочка знала, что делала. Екатерина пишет, что после поездки Гамбург мать стала ценить ее больше, нежели прежде, и это дало дочери больше смелости в отношениях с родительницей. Дело в том, что в Гамбурге мать часто посещал Гюлленборг. «...он видел, — пишет Екатерина, — что мать не обращала на меня большого внимания; он ей сказал однажды: “Ваше высочество, вы не знаете этого ребенка; ручаюсь вам, что он имеет гораздо больше ума и достоинств, нежели вы думаете; пожалуйста, обращайте на нее больше внимания, чем делали до сих пор, она этого вполне заслуживает”»[181]. Как помним, мемуаристка и его заносит в число жертв своей неотразимости.

Гюленборгу в тексте первой редакции отведена важная роль свидетеля того, что Екатерина по своим умственным, моральным и нравственным качествам была достойна российского трона. Если бы мемуаристка ограничилась тем, что просто-напросто объявила читателю: «Необходимые достоинства, чтобы носить корону, у меня были в детстве», то такое заявление едва ли могло бы убедить читателя. Самовосхваление не произвело бы должного действия по-

тому, что выглядело сомнительно. Совсем другое дело, если вложить такое свидетельство в уста авторитетного человека, как будто совершенно постороннего и, следовательно, не ангажированного. Брат шведского министра иностранных дел как нельзя лучше подходил для такой роли. Согласно мемуаристке, Гюлленборг начал осуществлять свою «историческую миссию», т.е. «возвышать душу» будущей императрицы, еще в Гамбурге[182]. Прибыв в Россию с дипломатическими целями зимой 1744 г., дипломат увидел в повзрослевшей немецкой девочке менее «благоразумия», нежели находил в ней в Германии, и еще раз подтвердил, что в Гамбурге ее душа была «мощной и сильной», превозносил ее врожденный «склад ума» и даже говорил: ее «гений рожден для великих подвигов»[183]. Он называл ее «пятнадцатилетним Философом».

Для правильного понимания текста мемуаров императрицы представляется важной апелляция Екатерины к своим природным качествам, которые проявились еще в детстве и были ею сохранены и в последние годы царствования Елизаветы. Мемуаристка утверждает, что после разговора с Гюлленборгом в 1744 г. составила записку о своем уме и характере: “Ebauche d’un broillion du character du Philosoph de quinze ans” («Набросок начерно характера философа в пятнадцать лет»). Через тринадцать лет она нашла это свое сочинение и была удивлена тем, что уже в том возрасте знала все изгибы своей души, сумела их изложить так, что всё это время спустя ничего не открыла нового в себе и ни одного слова не могла добавить к старому опусу[184]. Записка эта как будто была уничтожена ею в 1758 г., после ареста канцлера А. П. Бестужева.

Пожалуй, самое важное в этом фрагменте то, что мемуаристка утверждает: и почти в тридцать лет, когда разыгралось бестужевское дело, чуть было не закончившееся для Екатерины полным фиаско, она была таким же аполитичным существом, которое она представила в своих мемуарах, чуждым каким-либо интригам, козням, заговорам!

Сегодня невозможно сказать, действительно ли таково было сочинение, написанное пятнадцатилетней девочкой, и существовало ли оно вообще. Либо же это еще один удачный авторский прием мемуаристки, изощренно изобретавшей средства для создания нужного впечатления у читателя. Немаловажно отметить: в «Автобиографической записке», написанной еще до ареста Бестужева, и, следовательно, в то время, когда сочинение Екатерины о самой себе должно было еще существовать и могло быть востребовано, вообще ни слова не говорится о Гюлленборге. Это настораживает и порождает сомнение в том, насколько верно расставлены акценты в описании всего эпизода, связанного с дифирамбами, озвученными устами шведа. Существует письмо Екатерины Гюлленборгу, написанное в 1766 г. Российская императрица упоминает в нем о чувствах дружбы, которые швед выказывал более двадцати лет назад, и его участии, выраженном до всего, что ее касалось. При этом самодержица признает, что Гюлленборг развил в ней «желание достигнуть до свершения великих дел» (“vous qui avez développé en moi le désir de parvenir à faire des grandes choses”)[185].

Конечно, нельзя ни на минуту забывать о том, что Гюлленборг отнюдь не беспристрастный свидетель, а лицо заинтересованное, даже очень заинтересованное. Шведская дипломатия в Иоганне Елизавете, родной сестре шведского кронпринца, и ее дочери, российской великой княжне, видела партизан шведского влияния при Петербургском дворе. В сотрудничестве с ними Швеция была кровно заинтересована и поэтому дипломаты не скупились на похвалы Ангальт-Цербстской принцессе, изо всех сил стараясь принять участие во всем, что касалось невесты наследника престола России. Хотя на основании текста мемуаров читатель и не мог вывести заключения об этом.

Из описания «наставлений» Гюлленборга следует, что Екатерина приехала в Россию со сложившейся системой ценностей высшего порядка. Все же отклонения от него объяснялись тем, что, превратившись в одно из главных действующих лиц Петербургского двора, одаренная гениальными задатками девочка должна была стать его составной частью и жить по его законам. Она не могла не пропитаться склонностями к мишуре придворной жизни: балам, нарядам, прическам, украшениям, а основным ее занятием стало стремление прихорашиваться, что Гюлленборг определил словом “ses puerilitiés”[186], т.е. «ребячество» или «наивность». Но при этом устами Гюлленборга мемуаристка дает читателю понять, что у нее уже тогда были все качества, которые при определенных условиях могли бы сделать ее выдающимся политиком. Хотя тогда политикой она даже не интересовалась. То есть это наивное пятнадцатилетнее дитя уже тогда было «философом», таким же, как и в 1757 г., в двадцативосьмилетнем возрасте, когда она уже активно участвовала в политической борьбе. Но как произошло это превращение наивного подростка в политического борца — в «Записках» не описано. Надо понимать, что это случилось после 1751 г., до которого доведен текст первой редакции. Но своего обещания «поговорить об этом впоследствии» мемуаристка не выполнила.

Провидение, которое не так слепо, сделало свое дело. А как сделало, это уже не так и важно. Главное, что императрица Екатерина II — его рук дело, а вовсе не самой мемуаристки, бывшей великой княгини Екатерины Алексеевны. Это генеральная идея мемуаров императрицы, созданных в очень драматический для судьбы трона момент, когда законный наследник цесаревич Павел Петрович стал совершеннолетним, а его мать, российская императрица, не имевшая никаких легитимных прав на престол, не хотела не только уступить его сыну, но вовсе не желала ни на йоту поступиться своей властью[187]. Лучшего же обоснования своей власти, нежели перст Провидения, она не смогла найти в тот ответственный момент.

[1] «..он сказал, что... видит на моем челе по меньшей мере три короны. События подтвердили это предсказание» (*франц.*) (Mémoires commencés le 21 d’avril 1771 // Сочинения императрицы Екатерины II на основании подлинных рукописей и с объяснительными примечаниями академика А. Н. Пыпина. Т. XII. СПб., 1907. С. 13).

[2] О времени и обстоятельствах создания первой редакции «Записок Екатерины II» см. подробно: *Сафонов М. М.* Сексуальные откровения Екатерины II и происхождение

Павла I // Reflections on Russia in the Eighteenth Century / Ed. by J. Klein, S. Dixon and M. Fraanje. Köln; Weimar; Wien: Bohlau Verlag, 2001. P. 96–111.

[3] Записки, начатые 21 апреля 1771 года // Записки императрицы Екатерины Второй. М., 1989. С. 10.

[4] Там же. С. 12.

[5] Там же. С. 194.

[6] Там же. С. 1.

[7] Mémoires commencés le 21 d’avril 1771. С. 186.

[8] «... я увидела актрису, одетую в голубой бархат, шитый золотом...» (*франц.*)

[9] Записки, начатые 21 апреля 1771 года. С. 3.

[10] Характеристику этого документа см. подробно: *Сафонов М. М.* «Записки...» Екатерины II о себе и Романовых // Вестник архивиста. 2013. № 3. С. 74, 83.

[11] [Записки] // Записки императрицы Екатерины Второй. С. 467.

[12] Записки, начатые 21 апреля 1771 года. С. 14.

[13] «Мне было пятнадцать лет, туалеты не могут не нравиться в этом возрасте» (*франц.*) (Mémoires commencés le 21 d’avril 1771. С. 60).

[14] Записки, начатые 21 апреля 1771 года. С. 4–6.

[15] Там же. С. 11.

[16] Там же. С. 19.

[17] Там же. С. 37–38.

[18] Там же. С. 38.

[19] Там же. С. 39.

[20] Там же. С. 41.

[21] Там же. С. 42.

[22] Там же. С. 49.

[23] Там же. С. 50.

[24] Там же. С. 68.

[25] Там же. С. 70.

[26] Там же. С. 73.

[27] Там же. С. 61.

[28] Там же. С. 115–116.

[29] «Я в это время отдалась более, чем когда-либо, нарядам и всяким модам» (*франц.*) (Mémoires commencés le 21 d’avril 1771. С. 172).

[30] Там же. С. 177.

[31] Там же. С. 138–139.

[32] «Я так любила тогда танцевать, что...» (*франц.*) (Mémoires commencés le 21 d’avril 1771. С. 55).

[33] Записки, начатые 21 апреля 1771 года. С. 56.

[34] Там же. С. 56–57.

[35] Там же. С. 73–74.

[36] Там же. С. 79–80.

[37] Там же. С. 29.

[38] Записки, начатые 21 апреля 1771 года. С. 61–62.

[39] «Скакать и прыгать... сколько угодно» (*франц.*) (Mémoires commencés le 21 d’avril 1771. С. 87).

[40] Там же. С. 193.

[41] Там же. С. 3.

[42] Там же. С. 14.

[43] Там же. С. 14–15. Исабель де Мадарьяга усмотрела в этой скачке на подушках до изнеможения описание подростковой мастурбации (*Мадарьяга И. де.* Россия в эпоху Екатерины Великой. М., 2002. С. 25). В этом заключении сказывается давление традиции видеть в Екатерине некий эротический символ эпохи, а ее мемуары воспринимать как некую откровенную исповедь. Между тем изучение особенностей мемуаров не оставляет места для такого рода интерпретаций. Образ целомудренного существа, которым остается

Екатерина на протяжении всего текста первой редакции, исключал даже малейшие намеки такого рода.

44 Записки, начатые 21 апреля 1771 года. С. 15.

45 Там же. С. 23–24.

46 Там же. С. 24. Вызывает недоумение, как Е. В. Анисимов, изучавший «силлогизмы и реальность» в «Записках» Екатерины II, писал о том, что став великой княгиней, она впервые села на лошадь, т.е. только в 1745 г., «и сразу же достигла замечательных успехов» (*Анисимов Е. В.* Женщины на российском престоле. СПб., 2002. С. 303). Характернейший пример непонимания особенностей текста «Записок» императрицы. И. де Мадарьяга во «внезапно вспыхнувшей страсти» девочки к верховой езде, страсти, которая «впоследствии, несомненно, составила важную часть ее психологического и чувственного образа», увидела проявление чувственности, пробужденной любовью дяди Георга Людвига. В другом месте своей книги И. де Мадарьяга утверждала, что верховая езда избавляла Екатерину «от некоторой физической неудовлетворенности», т.е. представляла собой некий вид мастурбации, являвшейся следствием несчастливой супружеской жизни (*Мадарьяга И. де.* Россия в эпоху Екатерины Великой. С. 25, 33). Думается, это умозаключение английского биографа строится без учета особенностей текста первой редакции.

47 Там же. С. 25.

48 Там же. С. 94.

49 «...гулять и бегать...», «скакать... и сломать себе шею...» (Там же. С. 153, 183).

50 Записки, начатые 21 апреля 1771 года. С. 35.

51 Там же. С. 57.

52 Там же. С. 52.

53 Там же. С. 64.

54 Там же. С. 76.

55 Там же. С. 96, 97.

56 Там же. С. 88.

57 Там же. С. 67.

58 Там же. С. 98.

59 Там же. С. 100.

60 Там же. С. 110–111.

61 Там же. С. 184.

62 Там же. С. 94.

63 Там же. С. 109.

64 Там же. С. 132.

65 Там же. С. 190.

66 Там же. С. 131.

67 Там же. С. 93.

68 Там же. С. 161.

69 Там же. С. 156.

70 Там же. С. 157.

71 Там же. С. 122.

72 Там же. С. 192.

73 Там же. С. 183.

74 Впервые на это важное обстоятельство обратила внимание О. Е. Корнилович. Она допустила, что Екатерина не без задней мысли так много говорит о своих нарядах, прическах, развлечениях: дескать, «где уж за балами и маскарадами политикой заниматься» (*Корнилович О. Е.* 1) Записки Екатерины II: Внешний анализ текста // Журнал Министерства народного просвещения. 1912. № 37. С. 70; 2) Записки Екатерины II: Внешний анализ текста. Томск, 1912. С. 27). Однако никто из биографов Екатерины II, писавших после О. Е. Корнилович, не только не развил этот тезис, но даже не упомянул о нем (*Сафонов М. М.* Молодая Екатерина в отечественной историографии // Петербургский исторический журнал. 2016. № 1. С. 120–121).

75 Записки, начатые 21 апреля 1771 года. С. 139.

76 Там же. С. 161–163.

77 См. подробно: *Сафонов М. М.* Презентация образа Петра III на страницах «Записок Екатерины II» // Немцы в Санкт-Петербурге. (XVIII–XX века). СПб., 2015. С. 33–76.

78 Это особенно ярко отразилось в биографиях Елизаветы Петровны, написанных Е. В. Анисимовым (*Анисимов Е. В.* 1) Елизавета Петровна. М., 1999. С. 119, 125, 126, 132–133, 135, 247, 249–250; 2) Женщины на российском престоле. С. 227–228, 235–236). Автор проводит довольно-таки сомнительную мысль о гуманности женского правления в России XVIII в., но не отказывает себе в удовольствии позабавить читателя описанием самодурства капризной и вздорной дочери Петра I, описывая, как гуманная императрица тиранила придворных: била своих кавалеров, приказывала дамам обрить головы, срезáла ленты с их причесок, сдирая при этом часть кожи на голове, и т.д. По сравнению с такого рода «гуманизмом» «императрикс Елисавет» правители-мужчины постпетровского времени выглядят чуть ли не голубями. Можно лишь удивляться тому, как писатель умудрился не заметить, что во второй редакции мемуаров, где образ Елизаветы выполняет совсем другую функцию, мемуаристка не упоминает о таких жестокостях, «убийственных» для репутации дочери Петра «фактов». Впрочем, едва ли справедливо упрекать писателя в том, что он, создавая свой опус, не пользуется приемами исследователя, потому что каждый из этих двух родов «людей пишущих», видимо, ставит перед собой разные задачи.

79 «Вы — ребенок», «...я была ребенком» (*франц.*) (Mémoires commencés le 21 d'avril 1771. С. 29; [Mémoires]. С. 443).

80 Записки, начатые 21 апреля 1771 года. С. 17.

81 Там же. С. 24.

82 Там же. С. 96.

83 Там же. С. 75.

84 Там же. С. 120.

85 Там же. С. 68.

86 Там же. С. 71.

87 Там же. С. 68.

88 Там же. С. 2.

89 Там же. С. 3–4.

90 [Записки]. С. 469.

91 Там же. С. 6.

92 Там же. С. 7.

93 Там же. С. 16.

94 «Совершенный уродец» (*франц.*) (Mémoires commencés le 21 d'avril 1771. С. 15).

95 Записки, начатые 21 апреля 1771 года. С. 4.

96 Там же. С. 6.

97 Там же. С. 12–13.

98 [Записки]. С. 468.

99 «Он был влюблен по уши, замкнулся в себе, потерял сон, утратил интерес к еде и питью и главное, свою врожденную веселость» (*франц.*) (Mémoires commencés le 21 d'avril 1771. С. 30).

100 Записки, начатые 21 апреля 1771 года. С. 20–20.

101 Там же. С. 21.

102 Там же. С. 26–28.

103 Там же. С. 470.

104 Mémoires commencés le 21 d'avril 1771. С. 61; Записки, начатые 21 апреля 1771 года. С. 62.

105 «Именно я заставила их на это решиться» (*франц.*) (Mémoires commencés le 21 d'avril 1771. С. 31).

106 Там же. С. 22.

107 Записки, начатые 21 апреля 1771 года. С. 29.

108 Там же. С. 30.

109 Там же. С. 31.

110 [Записки]. С. 471–472.

111 Записки, начатые 21 апреля 1771 года. С. 28.

[112] Записки. С. 470.
[113] Записки, начатые 21 апреля 1771 года. С. 30.
[114] Записки. С. 471.
[115] «Провидение не так слепо...» (*франц.*) (Mémoires. IV. [1] // Сочинения императрицы Екатерины II. С. 19).
[116] Собственноручные записки императрицы Екатерины II // Записки императрицы Екатерины II. С. 203.
[117] Записки, начатые 21 апреля 1771 года. С. 7.
[118] Там же. С. 18–19.
[119] Там же. С. 31.
[120] Там же.
[121] Mémoires commencés le 21 d'avril 1771. С. 15.
[122] Записки, начатые 21 апреля 1771 года. С. 12–13.
[123] «Я должна стараться приобрести ум и достоинства» (*франц.*) (Memoires commences le 21 d'avril 1771. С. 15).
[124] Записки, начатые 21 апреля 1771 года. С. 44.
[125] Там же. С. 64.
[126] Там же. С. 65.
[127] Там же. С. 76.
[128] Там же. С. 86.
[129] Там же. С. 89.
[130] Там же. С. 100.
[131] Там же. С. 90.
[132] Там же. С. 178.
[133] Там же. С. 59.
[134] Там же. С. 146.
[135] Там же. С. 170.
[136] Там же. С. 104.
[137] Там же. С. 107.
[138] Там же. С. 59.
[139] Там же. С. 108.
[140] Там же. С. 114.
[141] Там же. С. 84.
[142] Там же. С. 137–138.
[143] Там же. С. 164.
[144] Там же. С. 183.
[145] Там же. С. 82.
[146] Там же. С. 113.
[147] Там же. С. 82.
[148] Там же. С. 3.
[149] Там же. С. 123.
[150] Там же. С. 125.
[151] Там же. С. 142.
[152] Там же. С. 82.
[153] Там же. С. 100.
[154] Там же. С. 102.
[155] Там же. С. 57.
[156] Там же. С. 88.
[157] Там же. С. 7.
[158] Там же. С. 112–113.
[159] Там же. С. 31.
[160] Там же. С. 67.
[161] Там же. С. 86.
[162] Там же. С. 179–180, 185.

[163] Там же. С. 82.
[164] Там же. С. 93.
[165] Там же. С. 108, 188.
[166] Там же. С. 144.
[167] Там же. С. 95.
[168] Там же. С. 189.
[169] Там же. С. 179.
[170] «...врожденное предчувствие моего будущего положения...» (*франц.*) (Mémoires. P. 174).
[171] Там же. С. 3.
[172] Там же. С. 6.
[173] Там же. С. 7.
[174] Там же. С. 6–7.
[175] Там же. С. 45.
[176] Там же. С. 50.
[177] Там же. С. 83.
[178] Там же. С. 117.
[179] Там же. С. 181.
[180] Там же. С. 153.
[181] Там же. С. 29.
[182] Mémoires commencés le 21 d'avril 1771. С. 29.
[183] Ibid. C. 61.
[184] Ibid. C. 61.
[185] Сборник Русского исторического общества. Т. X. СПб., 1872. С. 156–157.
[186] Ibid. C. 60.
[187] См. подробно: *Сафонов М. М.* Завещание Екатерины II. СПб., 2002. С. 20–86.

References

ANISIMOV E. V. *Zhenshchiny na rossijskom prestole*. [In Russ.] St Petersburg, 2002.

ANISIMOV E. V. *Elizaveta Petrovna*. [In Russ.] Moscow, 1999.

Zapiski imperatricy Ekateriny Vtoroj. [In Russ.] Moscow, 1989.

KORNILOVICH O. E. *Zapiski Ekateriny II: Vneshnij analiz teksta* // Zhurnal Ministerstva narodnogo prosveshcheniya. 1912. N 37. N 1. Otdel nauk. P. 37–74.

KORNILOVICH O. E. *Zapiski Ekateriny II: Vneshnij analiz teksta*. [In Russ.] Tomsk, 1912. S. 34–74.

MADAR'YAGA I. de. *Rossiya v ehpohu Ekateriny Velikoj*. [In Russ.] Moscow, 2002.

SAFONOV M. M. *Zaveshchanie Ekateriny II*. [In Russ.] St Petersburg, 2002.

SAFONOV M. M. "*Zapiski...*" *Ekateriny II o sebe i Romanovyh* // Vestnik arhivista. 2013. N 3. S. 72–87. [In Russ.]

SAFONOV M. M. *Molodaya Ekaterina v otechestvennoj istoriografii* // Peterburgskij istoricheskij zhurnal. 2016. N 1. S. 113–128. [In Russ.]

SAFONOV M. M. *Prezentaciya obraza Petra III na stranicah "Zapisok Ekateriny II"* // Nemcy v Sankt-Peterburge. (XVIII–XX veka). St Petersburg, 2015. S. 33–76. [In Russ.]

SAFONOV M. M. *Seksual'nye otkroveniya Ekateriny II i proiskhozhdenie Pavla I* // Reflections on Russia in the Eighteenth Century / Ed. by J. Klein, S. Dixon and M. Fraanje. Köln; Weimar; Wien: Bohlau Verlag, 2001. P. 96–111. [In Russ.]

Sochineniya imperatricy Ekateriny II na osnovanii podlinnyh rukopisej i s ob"yasnitel'nymi primechaniyami akademika A. N. Pypina. T. XII. St Petersburg, 1907. [In Russ.]

Sbornik Russkogo istoricheskogo obshchestva. T. X. St Petersburg, 1872. [In Russ.]

Список литературы

Анисимов Е. В. Женщины на российском престоле. СПб., 2002.

Анисимов Е. В. Елизавета Петровна. М. 1999.

Записки императрицы Екатерины Второй. М., 1989.

Корнилович О. Е. Записки Екатерины II: Внешний анализ текста // Журнал Министерства народного просвещения. 1912. № 37. № 1. Отдел наук. С. 37–74.

Корнилович О. Е. Записки Екатерины II: Внешний анализ текста. Томск, 1912. С. 34–74.
Мадарьяга И. де. Россия в эпоху Екатерины Великой. М., 2002.
Сафонов М. М. Завещание Екатерины II. СПб., 2002.
Сафонов М. М. «Записки...» Екатерины II о себе и Романовых // Вестник архивиста. 2013. № 3. С. 72–87.
Сафонов М. М. Молодая Екатерина в отечественной историографии // Петербургский исторический журнал. 2016. № 1. С. 113–128.
Сафонов М. М. Презентация образа Петра III на страницах «Записок Екатерины II» // Немцы в Санкт-Петербурге. (XVIII–XX века). СПб., 2015. С. 33–76.
Сафонов М. М. Сексуальные откровения Екатерины II и происхождение Павла I // Reflections on Russia in the Eighteenth Century / Edited by J. Klein, S. Dixon and M. Fraanje. Köln; Weimar; Wien: Bohlau Verlag, 2001. P. 96–111.
Сочинения императрицы Екатерины II на основании подлинных рукописей и с объяснительными примечаниями академика А. Н. Пыпина. Т. XII. СПб., 1907.
Сборник Русского исторического общества. Т. X. СПб., 1872.

М. М. Сафонов. Презентация образа великой княгини Екатерины Алексеевны в первой редакции «Записок» императрицы Екатерины II

В статье предпринята попытка воссоздать образ главной героини первой редакции мемуаров Екатерины II и проанализировать приемы, с помощью которых мемуаристка его конструировала. Текст этой редакции может быть правильно понят только при учете того, в каких политических обстоятельствах и с какими целями он создавался императрицей. Екатерина II работала над ним в первой половине 1770-х гг., в атмосфере приближавшегося совершеннолетия наследника Павла Петровича, когда борьба сторонников цесаревича с императрицей достигла апогея и на повестке дня стоял вопрос о соправительстве матери и ее сына. Мемуаристка создала образ непосредственной девушки-подростка. Ее второе Я — светская жизнь, полная развлечений. Это политически совершенно девственное создание. Такой образ мемуаристки исключает любое предположение о том, что она могла стремиться к власти и прокладывать дорогу к трону путем тайных заговоров. Корону ей предназначило самое Провидение.
Ключевые слова: великая княгиня, императрица Екатерина Алексеевна, императрица Елизавета Петровна, великий князь Петр Федорович, двор, мемуары.

M. M. Safonov. Presentation of the image of the Grand Duchess Ekatherine Alekseevna in the first edition of "Notes" by Empress Catherine II

The author of the article made an attempt to recreate the image of the main character of the first edition of memoirs by Catherine II and to analyze the techniques by which the memoirist designed it. The text of this edition can be correctly understood only taking into account the political circumstances and the purposes for which it was created by the Empress. Catherine II worked on it in the first half of the 1770s in the atmosphere of approaching adulthood her heir Pavel Petrovich, when the struggle of supporters of the crown Prince with the Empress reached its climax and the agenda was the question of the co-government of the mother and her adult son. So the very creation of the Empress's memoirs should be considered in the context of this confrontation. Memoirist created the image quite spontaneous teenage girl, moving like mercury. This pure and chaste creature is almost a child. Her other Self is a social life full of fun. With such interests it is not about politics. It's a politically completely virgin creature. This image of the memoirist excludes any assumption that she could aspire to power and pave the way to the throne by secret conspiracies. The crown was intended to her by Providence without any participation on her part.
Key words: Grand Duchess, Empress Ekaterina Alekseevna, Empress Elizabeth, Grand Duke Peter Fedorovich, court, memoirs, first edition of memoirs.

Сафонов, Михаил Михайлович — к.и.н., старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН.
Safonov, Mikhail Mikhail — PhD, senior researcher of the St Petersburg Institute of history of the Russian Academy of Sciences.
E-mail: m.safonov@list.ru

УДК 821.161.1
DOI: 10.24411/2311-603X-2018-00073

Г. М. Седова

Последний день жизни Пушкина в свидетельствах современников

События 27 января 1837 г., происходившие накануне выхода Пушкина на поединок, отражены в документальных источниках (условия дуэли, составленные секундантами; протоколы Военно-судной комиссии) и нарративных материалах (письмах В. А. Жуковского, А. И. Тургенева, князя П. А. Вяземского, письмах К. К. Данзаса и его мемуарах, записанных в 1860-х гг. поэтом А. Н. Аммосовым). Неполнота и разноречивость названных источников определили существование нескольких вариантов исследовательских реконструкций последнего дня жизни поэта. При этом историографическая традиция отдает предпочтение так называемым конспективным заметкам В. А. Жуковского (далее — КЗ), составленным вскоре после смерти Пушкина. П. Е. Щеголев, автор фундаментального труда о дуэли и смерти Пушкина, утверждал, что КЗ легли в основу его «рассказа о дне дуэли»[1]. Документом «первостепенной важности»[2] считали КЗ и другие исследователи, изучавшие преддуэльные события (КЗ были начаты в ноябре 1836 г., когда разразилась первая дуэльная история Пушкина с д'Антесом[3], и завершены после смерти поэта).

Следует учитывать, что Жуковский не всегда выступал очевидцем происходящего и его записи чаще всего велись с чужих слов. Это относится ко дню 27 января: о поединке на Черной речке он узнал поздно вечером, когда явился в дом раненого Пушкина и получил информацию о случившемся от лиц из ближнего окружения поэта и прислуги. В этой связи трудно признать